



Леонид Матвеевич Аринштейн
Петух в аквариуме – 2, или Как я провел
XX век. Новеллы и воспоминания
Серия «Монограмма»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14823329

Л. М. Аринштейн. Петух в аквариуме – 2, или Как я провел XX век: Новеллы и воспоминания:

Грифон; Москва; 2013

ISBN 978-5-98862-051-8

Аннотация

«Петух в аквариуме» – это, понятно, метафора. Метафора самоиронии, которая доминирует в этой необычной книге воспоминаний. Читается она легко, с неослабевающим интересом. Занимательность ей придает пестрота быстро сменяющихся сцен, ситуаций и лиц.

Автор повествует по преимуществу о *повседневной* жизни своего времени, будь то русско-иранский Ашхабад 1930–х, стрелковый батальон на фронте в Польше и в Восточной Пруссии, Военная академия или Московский университет в 1960-е годы. Всё это показано «изнутри» наблюдательным автором.

Уникальная память, позволяющая автору воспроизводить с зеркальной точностью события и разговоры полувековой давности, придают книге еще одно измерение – эффект погружения читателя в неповторимую атмосферу и быт 30-х – 70-х годов прошлого века. Другая привлекательная особенность этих воспоминаний – их психологическая точность и спокойно-иронический взгляд автора на всё происходящее с ним и вокруг него.

Содержание

Предисловие	5
От автора	6
Ашхабад	7
Гаррис	8
Институт физиатрии	10
Профессор Кутепов	12
Профессор Смирнов	14
Елена Агеевна Котикова – анатом-пушкинист	16
Школа	18
Константиновская улица	20
Фронт	23
1. Рассказы командира взвода	24
«Мимо-Гомельская» дивизия	24
«Славяне»	24
Числовой пароль в пределах десятка	24
Буряты и «самовары»	25
Генеральский мат	25
«Наш, не наш – полезай в блиндаж!»	26
Адъютант старший батальона	27
Благодаря чему мы переигрывали немцев	28
Как мы обходились без огневой разведки	28
Как двигалась пехота	29
Как немцы переняли опыт Александра Невского	30
Achtung, Panzern!	31
Уличный бой в Николайкене	33
Как мы разметали «глубоко эшелонированную оборону»	33
Как мы вдвоем взяли в плен десяток немцев	35
В обороне. Передовая и тыл. Аристократы полка	36
Наш батальон. Бои в Восточной Пруссии	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Леонид Аринштейн
Петух в аквариуме – 2, или Как я провел
XX век: Новеллы и воспоминания

© Грифон, 2013

© Аринштейн Л. М., 2013

* * *

Предисловие

Перед нами очередная книга Леонида Матвеевича Аринштейна – автора широко известной, пятикратно изданной «Непричесанной биографии» Пушкина и многих других популярных книг. В данном случае он выступает в жанре мемуаров, продолжая «Новеллы и воспоминания», вышедшие пять лет назад.

Сейчас уже практически невозможно встретить свежие воспоминания, в которых так живо и легко, с такой самоиронией и остроумием рассказывается о повседневной жизни на протяжении почти всего XX века.

Здесь и город Ростов эпохи Кутепова и Деникина – белая столица России, по рассказам родителей автора; и Ашхабад начала 1930-х, когда его населяли англичане, персы и высланные большевиками русские ученые и даже бывшие фрейлины; и Кенигсберг, каким его увидел автор во время штурма в апреле 1945-го...

Те, о ком вспоминает Леонид Матвеевич, – это его фронтовые товарищи: лейтенанты, капитаны и солдаты Второй Мировой; профессора и студенты Ленинградского филфака 1940-х и преподаватели Московского университета 1960-х; научные работники, издатели, академики, маршалы и генералы... Встречаются среди них люди весьма известные, такие, как академик М. П. Алексеев или маршал П. Ф. Жигарев, о которых написано немало. Но ни в изданных трудах, ни на просторах интернета вы не найдете того, что рассказывает о них автор этой книги. Вот лишь один пример – герой публикаций и фильмов Н. Д. Скорняков, советский разведчик, работавший в 1939–1941 гг. в Берлине. В статьях о нем в интернете говорится, что после войны следы его теряются... На самом деле он продолжал военную службу вплоть до конца 1960-х. В те годы он был дружен с Леонидом Матвеевичем, рассказывал ему многие любопытные вещи и, в частности, подробно пересказал свои беседы с Герингом в Берлине и со Сталиным в Москве... Рассказам Скорнякова автор посвятил отдельную главу книги.

В других главах – также много такого, о чем нигде больше не прочтешь: живые детали из жизни Военной академии ПВО и Пушкинского Дома Академии наук, поучительные истории эпохи «железного занавеса», эпиграммы – очень остроумные, но не всегда печатные – на советских писателях, шутки и анекдоты...

Трудно даже перечислить все занимательные стороны этих воспоминаний. Каждый читатель обязательно найдет здесь для себя что-то новое и неожиданно-интересное.

Ирина Юрьева

От автора

Первое издание этой книги вышло в конце 2008 года. Во вступительной заметке я тогда писал:

«Книга производит впечатление пестрого собрания разрозненных рассказов. В действительности, это целостное произведение: автобиографическое повествование в разных жанрах и в разной стилистической манере. К тому же написанное в разное время и записанное на разных носителях.

Первый цикл новелл – «Ашхабад» – написан недавно, осенью 2007 года... Цикл «Фронт» – это то, что я вообще никогда не писал, а по разным поводам рассказывал в кругу друзей, а также теле- и радиожурналистам между 1999 и 2004 годом. Часть того, что я говорил, записана на аудиопленку. Расшифровки этих записей – упорядоченные, уточненные, сильно сокращенные – и составляют цикл «Фронт». Стилистика разговорной речи при этом по возможности сохранена. Собственные имена здесь также подлинные.

Самый ранний пласт в книге – повесть «Где растет трын-трава»... Ранняя редакция была написана очень давно, еще в 1951 году, и представляла собой обработку моих записей о гонениях на профессоров Ленинградского университета. Писал я исключительно для себя, не только не помышляя о публикации, но всячески стараясь скрыть свою рукопись и относящиеся к ней документы от посторонних глаз. Я забыл, куда их запрятал, и очень удивился, когда через семнадцать лет в 1968 году обнаружил всё это заклеенным между двумя днищами картонного ящика. Я с интересом прочел рукопись и тут же стал ее переделывать: дополнил двумя или тремя вымышленными персонажами, заменил некоторые подлинные имена на выдуманные и т. д. И опять отложил... Вернулся я к ней еще почти через двадцать лет – в 1987 году. Снова переделал, убрал длинноты и даже хотел напечатать в журнале, но какие-то дела, работа над другими книгами опять отвлекли меня, и рукопись пролежала еще двадцать лет.

Для этого издания я ее не переделывал, только сократил немного...

В работе над книгой я не пользовался ни историческими трудами, ни мемуарной литературой, ни архивными документами. Писал только то, чему был свидетель сам, или то, что слышал в свое время от участников событий, которым у меня были основания доверять...

В этом издании я добавил несколько новых разделов и глав. Во-первых, две главы, относящиеся к периоду моей работы в Военной академии. Далее – две новые части: «Московский университет» и «Пушкинский Дом».

Таким образом, повествование приобрело целостный законченный характер и по существу доведено до середины 1980-х годов.

Январь 2013 г. Л. М. Аринштейн

Ашхабад

*Я плавал по Нилу,
Я видел Ирбит...
Верзилу Вавилу
бревном придавило,
Вавила у виллы лежит...*

Пародия А. Измайлова

В Ашхабад мы приехали в самом конце 1934 года. Отца туда приглашали давно – возглавить физиотерапевтическое отделение только что открывшегося туркменского гос. института физиатрии и неврологии. Отец колебался, но события 1 декабря – убийство Кирова – подстегнули его решение. Отец хорошо понимал, что значило это убийство и что с его прошлым лучше отправиться куда-нибудь подальше.

Через неделю мы были уже в пути.

Ашхабад оказался очень занятым городом. Это был не привычный мне дикий мир. По улицам торжественно, словно в медленном танце, вышагивали гигантские одногорбые верблюды (на картинках прежде я видел только двугорбых и помельче). Рядом шли туркмены в живописных темно-малиновых халатах и огромных бараньих папах величинной с целого барана, туркменки в удивительных тюрбанах, с ожерельями из сотен мелких серебряных монет.

Почти весь город состоял из одноэтажных глинобитных домиков с обширными дворами, огражденными высокими глиняными стенами – дувалами. Жили в них не столько туркмены, сколько иранцы, тогда их еще называли персами. К переименованию Персии в Иран в то время относились довольно иронично. Был даже анекдот, как ящик с персиками переименовали в ящик с «иранчиками».

В центре Ашхабада был большой базар, на него приезжали туркмены из окрестных кишлаков. Как-то в наши первые дни в Ашхабаде мама взяла меня с собой на базар. Высокий туркмен продавал уже не помню что, наверное, сухофрукты и просил не очень высокую цену, скажем, три рубля; а мама по ростовской привычке сказала: «Давай за два!» Туркмен ответил: «Если тебе это дорого, если у тебя нет денег – возьми так». После этого мама на туркменских базарах не торговалась.

К моему удивлению, по центру Ашхабада проезжали машины – грузовики, во много раз более качественные, чем те, что мне доводилось видеть в Москве, Ленинграде или Ростове. Дело в том, что там проходил Гауданский тракт, а Ашхабад был, оказывается, своего рода зоной открытой торговли. Через него шла торговля с Ираном, и тем самым с Ближним Востоком, и с Европой. В Иране того времени жило много английских предпринимателей. Мне было всего девять лет, я мало что смыслил в свободной торговле и т. п., но видел, как эти грузовики останавливались в определенном месте в центре города, и там шел и меновой торг, и на деньги. Я тогда впервые увидел иностранную валюту – персидские туманы. У меня даже каким-то образом завелось две или три таких монетки, и я все хотел на них купить что-нибудь эдакое, подумывал даже об автомобиле. Но скоро понял, что на мои три тумана автомобиль не купишь.

Гаррис

Первые несколько месяцев в Ашхабаде мы жили в доме англичанина по фамилии Гаррис. Англичанин был худой, сухопарый, длинный, в клетчатом свитере, тяжелых горных ботинках и в клетчатых шерстяных гетрах – точь-в-точь как на картинках в книге «Трое в одной лодке». Там долговязого сухопарого англичанина тоже звали Гаррис. Это сходство меня поразило. Я сразу же понял, что этот человек и есть тот, кого описывал Джером К. Джером, но полной уверенности в этом у меня не было, а спрашивать у родителей было как-то неудобно.

Я смотрел на Гарриса с открытым ртом и все ждал, когда появится собачка Монморанси. Собачка не появлялась. Между тем разговор Гарриса и родителей явно не клеился. Гаррис не знал ни слова по-русски, отец пробовал заговорить с ним по-немецки, мама – по-французски, но этих языков он тоже не знал. Меня два года учили английскому языку, и родители посмотрели на меня с некоторой надеждой. Но от удивления и смущения и вообще от перспективы заговорить с живым персонажем знаменитого английского романа у меня совершенно отсох язык, и я не смог бы связать двух слов даже по-русски.

По счастью, вошел пожилой иранец, живший в соседнем дворике. Он оказался истинным домохозяином – Гаррис у него лишь арендовал этот дом или полдома. Иранец отлично говорил по-русски, а Гаррис, как выяснилось, помимо родного английского все-таки знал еще и фарси (персидский). Так с помощью персидского языка удалось провести переговоры русских пришельцев с местным англичанином. Англичанин сдал нам большую, метров около сорока, комнату, а примыкающую к ней маленькую наполнил своими вещами и запер на замок, объявив, что он уезжает на три месяца куда-то в Афганистан, а потом вернется, заберет оставленные вещи и уедет к себе в Англию. Срок аренды дома кончится у него только через полгода, и он отдает нам свои апартаменты на все это время бесплатно из симпатии к России, о которой он много слышал, но никогда в ней не был. После этого он взял свой довольно объемный саквояж и стал прощаться.

Я за время всех этих русско-персидско-английских переговоров постепенно оттаял и, прощаясь, рискнул выдать из себя: «You see, I speak English a little»¹. Гаррис буквально остолбенел. Думаю, если бы по-английски заговорил стоявший в углу мраморный умывальник, он удивился бы меньше. Затем он от души расхохотался: «Well, but why then were you keeping silence all the time!» – «Can't say...» – «Well, boy, I see you are a true Briton»².

Он порылся в своем саквояже, явно намереваясь одарить меня каким-нибудь сувениром, но, не найдя ничего подходящего, отпер дверь маленькой комнатки и выкатил оттуда прекрасный футбольный мяч. Потом он уселся в кресло и попросил иранца перевести моим родителям подходящий, как ему казалось, случаю анекдот. Анекдот был о том, как какие-то путешественники потерпели кораблекрушение, спаслись на лодке и, когда у них кончилась еда, стали по жребию поедать друг друга. Наконец осталось двое: англичанин и швед – жребий быть съеденным пал на англичанина, швед уже приготовился его убить, когда англичанин сказал: «Послушай, зачем это? Здесь под моим сиденьем вдоволь консервов». – «Так что же ты все это время молчал!» – возмутился швед. – «Терпеть не могу консервы!» Я не понял тогда ни связи этого анекдота с происходящим, ни самого анекдота. Консервы в то время были большим деликатесом.

¹ «Вы знаете, я немного говорю по-английски».

² «Так что же ты все время молчал!» – «Не знаю». – «Ну, парень, ты, я вижу, настоящий британец».

Гаррис действительно месяца через три вернулся, забрал свои вещи и отбыл на родину. Больше я его никогда не видел. А мы прожили в этом доме еще несколько месяцев и переехали в плохонькую квартиру во дворе института, в котором работал отец.

Институт физиатрии

Институт занимал целый квартал. Фасадом он выходил на Михайловскую улицу, а задними дворами – на Константиновскую. Эти названия были реликтами памятного комплекса в честь царствовавшей фамилии. Центральная городская площадь называлась Александровской, от нее в сторону института шел широкий проспект, обсаженный деревьями и застроенный богатыми особняками, – Николаевский, а две прилегающие к нему со стороны гор улицы получили название в честь Великих Князей Михаила и Константина. В советское время Александровская площадь стала площадью Карла Маркса, Николаевский проспект – проспектом Карла Либкнехта, а Михайловскую и Константиновскую оставили как есть, вероятно, по незнанию отечественной истории.

Любопытно, что много лет спустя редактор издательства Академии наук в Ленинграде повел себя точно так же, как городские власти в Ашхабаде: он упорно искоренял в словах «Царь», «Государь», «Император» заглавные буквы, меняя на строчные, но в слове «Великий князь» сохранял заглавную.

Институт, как я уже упоминал, назывался Институтом физиатрии и неврологии, но работавшие в нем врачи делились не на физиотерапевтов и невропатологов, а по совершенно другому принципу: на тех, кто приехал по своей воле – за высоким заработком, за престижной должностью, за интересной работой; и тех, кого сюда выслали. Люди эти были чрезвычайно интересны. Благодаря им мне стало открываться (разумеется, далеко не сразу) многое в политической истории моей страны.

* * *

Миньё Ильич Шапкайтц, хирург, и его супруга, г-жа Крель, бывшая фрейлина Императрицы Александры Федоровны. Благодаря им я узнал тогда о расстреле Царской семьи. Нет, ни Миньё Ильич, ни его супруга со мной об этом не говорили. Вообще это была запретная тогда тема. Но стоило отцу заговорить о Шапкайтце или Крель с кем-то из своих знакомых, как разговор неминуемо соскальзывал на эту тему. Отец не был монархистом, но был человеком честным и справедливым и об убийстве Царя и его детей говорил с отвращением, как о гнуснейшем преступлении.

Видимо, то, что я слышал тогда двенадцатилетним мальчиком, крепко засело в моих извилинах, потому что когда в 1951 году я попал в Свердловск, то в первые же дни побывал в Ипатьевском доме.

В Свердловске я работал в Институте иностранных языков – преподавал историю английского языка. В те годы в обязанности преподавателей входила так называемая «общественно-воспитательная работа» со студентами – то есть что-то им показывать, рассказывать, куда-то водить. Я и водил их по примечательным местам Свердловска: в дом-музей писателя Бажова, в дом, связанный с работой Мамина-Сибиряка над «Приваловскими миллионами», в Ипатьевский дом, где довольно подробно рассказал о разыгравшейся в 1918 году трагедии. Знал я об этом к тому времени немало, причем не только от отца, деда и матери, но и от свердловских старожилов. Рассказ, видимо, был впечатляющий: как потом выяснилось, мои студенты все это взахлеб пересказывали своим родителям, друзьям и знакомым.

Кончилось все это грандиозным скандалом. Меня с треском выгнали с работы, в газете «Уральский рабочий» (центральный орган Свердловского обкома партии) обо мне напечатали разгромный фельетон, обвиняя в развращении студентов, насаждении буржуазной

идеологии и Бог знает в чем. Впрочем, несмотря на всю трескотню, конкретно о походе в Ипатьевский дом не было сказано ни слова.

Чудом избежал я тогда ареста: высокий партийный деятель, который занимался этим делом, судя по его беседе со мной, в глубине души сочувствовал моему поступку и дал мне понять, что мне надо поскорее сматываться из Свердловска. Фамилия этого человека была Плетнев. Он был уже в годах, с орденами, заработанными в Гражданскую войну, и занимал должность то ли председателя, то ли секретаря парткомиссии Свердловского обкома и горкома ВКП(б)³.

Я не преминул воспользоваться его советом. Пожитков у меня было немного, и я собрался буквально за полчаса. Единственное, что я не смог взять с собой, была раскладушка, на которой я спал. Я занес ее к своей знакомой преподавательнице Ирине М. Потом она рассказывала мне, что в тот же вечер к ней пришли выяснять, куда я делся.

– Понятия не имею.

– Неправда. Вы должны знать: ведь это его раскладушка?

– Да.

– Значит, он ваш любовник?

– Никогда не был.

– Опять неправда. Зачем тогда здесь его раскладушка?

– Если бы он был моим любовником, – рассмеялась Ирина, – раскладушка бы здесь точно не понадобилась!

В конце концов они от нее отстали.

³ Внутрипартийный дисциплинарный орган.

Профессор Кутепов

Не менее знаменательной фигурой в кругу оказавшихся в Ашхабаде врачей был профессор Кутепов. Он преподавал в мединституте, где мой отец тоже вел курс физиотерапии и был близко знаком с Кутеповым. В институте физиатрии, где мы жили, Кутепов бывал редко, и я видел его всего несколько раз. Зато слышал о нем очень много.

Дело в том, что он был родственником – не знаю точно, братом или племянником, – знаменитого белого генерала Александра Павловича Кутепова, и мой отец не упускал случая с некоторой даже гордостью рассказать о таком своем знакомстве. Но вообще-то это была мамина тема. Мама была коренной ростовчанкой, и ее жизнь и судьба ее родителей и близких родственников были напрямую связаны с бурными событиями Гражданской войны на Дону. Маминого брата и дядю, служивших у Деникина, расстреляли большевики. Ее отец – мой дедушка – был свидетелем обороны Таганрога зимой 1917–18 года, организованной тогда еще полковником Кутеповым. Впоследствии дед не раз противопоставлял решительность и военный талант Кутепова нерешительности, как он считал, Деникина.

Словом, упоминание имени Кутепова вызывало у мамы целый рой воспоминаний.

Мама родилась в Ростове в 1901 году в очень состоятельной буржуазной семье. Родители сумели дать ей прекрасное образование: она училась в частной гимназии, владела французским и немецким языками, была одаренной пианисткой. И в те времена, и позже она аккомпанировала профессиональным певцам, а иногда давала сольные концерты.

Когда осенью 1917 года в Ростове была провозглашена советская власть, поддержанная десантом черноморских моряков, старшее поколение почувствовало, что «мирное время» кончается – рушился привычный уклад комфортной буржуазной жизни. Мамина семья безоговорочно встала на сторону тех, кто этот уклад защищал. Зимой 1917–18 года это был генерал Каледин, и когда 29 января 1918 года Каледин покончил с собой, мамин брат, романтический юноша, запершись в кабинете, тоже пытался пустить себе пулю в лоб. Дед, почуяв недоброе, вышиб ногою дверь и выхватил у него из рук револьвер.

Вскоре в Ростове утвердилось Деникинское правление, возвратившее, как казалось, «мирное время» навсегда. Бабушкин брат, Михаил Афанасьевич Злотвер, богатейший в Ростове предприниматель, одним из первых стал оказывать Деникину финансовую поддержку и был назначен министром сформированного Деникиным правительства Юга России. Он отвечал за снабжение Добровольческой армии обмундированием и провиантом. Романтического маминого брата он устроил в штаб Деникина, где тот исполнял обязанности дежурного адъютанта и одновременно проходил курс юнкерского училища. Такие, как он – шестнадцати-семнадцатилетние юнкера, – собственно и составляли костяк Добровольческой армии.

Маме в 1918–19 г. было, соответственно, 17–18 лет, и период Деникинского правления в Ростове запомнился ей как «золотое время». Действительно, Ростов, ставший центром Белого движения, превратился в столичный город. Судя по маминым рассказам, в нем царила веселая беззаботная жизнь. Война, близость фронта совершенно не ощущались. Улицы были полны праздной публики, рестораны – пирующими офицерами, съехавшимися в Ростов со всех концов России. Мама в то время еще училась в гимназии. В числе ее гимназических подруг была дочь командира расквартированного в Ростове полка. Мама часто бывала у них в доме, вместе с подругой они готовили уроки, вместе готовились к выпускным экзаменам. Родители девочки очень поощряли эту дружбу. По вечерам в их доме собирались молодые офицеры, и мамин музыкальный талант оказался очень востребован, подтверждением чему, уже в мое время, были залежи нот с песнями и романсами той поры: «Прощание славянки»,

«Белой акации гроздья душистые», «Быстры, как волны, дни нашей жизни» и тому подобное. На обложках нот как раз и были изображены пирующие офицеры.

В один прекрасный день в январе 1920 года «мирное время» кончилось. Ростов захватили буденовцы. Маминого романтического брата расстреляли тут же. Дяде-министру удалось выбраться из города и эмигрировать в Маньчжурию. Но в Ростове у него осталась любимая женщина, и он трижды переходил советско-маньчжурскую границу и через всю страну возвращался в Ростов. Он уговаривал ее ехать с ним, но она не соглашалась покинуть Россию. В конце концов – это было уже в 1927 году, во время его очередного возвращения из Ростова, – он был задержан и расстрелян.

Дедушку в первые же дни арестовали, но его старшему сыну, отнюдь не романтику, а очень толковому и энергичному человеку, удалось уговорить своего приятеля, который пошел служить в ЧК, вывести дедушку из тюрьмы, якобы на расстрел, привезти его на вокзал, откуда и дедушка, и его сын на несколько лет исчезли из Ростова.

Маму прятали на чердаке в течение двух или трех месяцев – от этих, как говорила бабушка, «бандитов». У бабушки были основания так называть буденовцев: всё, что было в квартире, они забрали и вывезли. Дед был купцом, в Ростове у него был магазин готового платья. Несколько модных костюмов, которые он получал из Польши, он держал дома в большом трехстворчатом платяном шкафу. Буденовцам понравились модные костюмы, и они напялили их на себя прямо поверх гимнастеров, так что на костюмах расходились швы. Вместе с костюмами буденовцы решили увезти и платяной шкаф, но он не проходил в дверь. С помощью сабель его разрубили, оставили бабушке одну створку, а две другие погрузили на тачанку и увезли. Одинокая створка сиротливо стояла у бабушки еще много лет.

Впоследствии бабушка четко подразделяла новейшую историю Ростова, почти как Экклезиаст, на два противоположных Времени: на «мирное время» (включая сюда и Первую мировую войну) и на время, «когда пришли эти бандиты».

Дедушка, человек образованный и хорошо ориентировавшийся в военных и политических событиях своего времени, смотрел на вещи шире. «В Ростове, – говорил он, – скопилось слишком много трусов и бездельников, которые только что называют себя офицерами. А вокруг Деникина собралось слишком много проходимцев вроде нашего Миши (имелся в виду его свояк – министр). Он все время обманывал Деникина и наворовал миллионы. Главная же беда в том, что Деникин был уже немолод, свое он отвоевал и плохо понимал, как решать стоявшие перед Белым движением задачи. Поэтому никаких решительных действий он не предпринимал. Нужен был толковый и решительный молодой генерал вроде Александра Павловича Кутепова, тогда, может быть, все повернулось бы по-другому».

В апреле 1928 года, после смерти генерала Врангеля, Кутепов действительно возглавил Белое движение – вернее, то, что от него осталось в эмиграции: Русский общевоинский союз (РОВС). 26 января 1930 года генерал Кутепов был похищен в Париже агентами НКВД и убит...

Впрочем, ни дедушка, ни отец ничего этого не знали, а может быть, знали, но не хотели мне говорить.

Профессор Смирнов

Колоритнейшей фигурой из числа высланных в Ашхабад медиков был также профессор Борис Леонидович Смирнов. Он был толстовец, всегда ходил в синей холщовой рубаше, под которой носил вериги, знал многие языки, переводил с санскрита «Махабхарату» (много лет спустя его перевод был издан) и получал нескончаемые письма от ученых медиков, философов и богословов со всего белого света.

Своих детей у Бориса Леонидовича не было, но он жил вместе с сестрой, у которой был сын Гелий – они вдвоем его воспитывали. Мы были соседями: жили во дворе института дверь в дверь. С Гелием я не то чтобы дружил – он был младше меня, – но мы часто играли вместе, ходили друг к другу в гости. И Борис Леонидович понемногу привык ко мне. Не знаю, любил ли он детей, но ко мне определенно благоволил: он часто со мной разговаривал и много рассказывал мне с Гелием о разных странах, особенно о Древней Греции, о Тибете, Китае, об Индии. От него я услышал впервые греческие, персидские и индийские мифы. Все это звучало намного живее и интереснее, чем в школе, – во всяком случае, квалифицированнее. Думаю, что мой выбор стать филологом не в последнюю очередь связан с его влиянием.

Я хорошо помню многие разговоры с Борисом Леонидовичем, хотя времени с той поры прошло немало. В частности, врезалась в память одна из таких бесед. Я принес Гелию недавно купленную мне отцом книгу «Три мушкетера», изданную в серии «Библиотека романов и повестей», с прекрасными, как мне казалось тогда, картинками. Мы рассматривали картинки, когда вышел из комнатухи, где он что-то писал, Борис Леонидович и, как обычно, заговорил с нами.

– Ты уже прочитал эту книгу? – спросил он меня.

– Да, только кончил.

– Понравилось?

– Очень.

– А что ты перед этим читал?

– «Маугли».

– Тоже понравилось?

– Очень.

– Ну, и какая же книга тебе больше понравилась?

– Обе очень понравились. Только я больше люблю историю, поэтому «Три мушкетера» мне показались интересней.

– А ты думаешь, это история?

– Конечно!

– Знаешь, по-моему, здесь больше вымысла, чем в «Маугли». Там, правда, звери разговаривают, но их повадки, их, так сказать, характеры описаны очень точно. А вот в «Трех мушкетерах» – наоборот, разговаривают все нормально, но то, как описаны действующие лица, очень далеко от истины. Грубые, вечно пьяные солдафоны, которые только и умели, что убивать из-за угла, изображены здесь как тонко чувствующие благородные натуры, какими они никогда не были. А кардинал Ришелье, один из умнейших и образованнейших людей своего времени, может быть, величайший ученый, реформатор и политик Франции, изображен как злобный интриган, которого к тому же все дурачат. Мне, например, в это труднее поверить, чем в то, что Маугли разговаривает с пантерой на понятном им обоим языке.

Борис Леонидович прошел в другую комнату и через несколько минут вышел, держа что-то в руках.

– Вот смотри: почтовая марка с изображением кардинала Ришелье, она издана в этом году во Франции в честь трехсотлетия основанной им Французской академии. Возьми ее себе. И кстати, посмотри внимательнее на лицо этого великого француза.

Когда началась война, я положил эту марку вместе с паспортными фотографиями мамы, отца и деда и пронес в кармане гимнастерки через всю войну и сохранил до сегодняшнего дня. А «Три мушкетера» всё равно остались моей любимой книгой...

Елена Агеевна Котикова – анатом-пушкинист

Года через полтора после нашего переезда в институт у меня появился еще один замечательный воспитатель – Елена Агеевна Котикова.

Елена Агеевна была профессором анатомии в ленинградском Институте физкультуры им. Лесгафта. Будучи человеком наблюдательным, она обратила внимание, что некоторые упражнения выполняются студентами из Средней Азии свободнее, чем европейцами, и даже отдыхать они предпочитают, сидя на корточках. Елена Агеевна связала это с особенностями строения костей ног и суставов у этих народов и написала о своем открытии небольшую научную статью. Бдительные работники Ленинградского горкома быстро поняли, что Елена Агеевна подкапывается под марксистско-ленинско-сталинское учение по национальному вопросу и вообще все это пахнет расовой теорией, взятой на вооружение германским фашизмом.

Ее вызвали и разъяснили, что в соответствии с марксистско-ленинским учением все нации равны и, соответственно, у них равны кости ног и суставы, а так как она в этом, кажется, сомневается, то ей придется поехать в Среднюю Азию на годик-другой, может, больше, чтобы лично убедиться в этом непреложном факте.

Так Елена Агеевна оказалась в Ашхабаде, в туркменском гос. институте физиатрии. Делать ей там было совершенно нечего, изучать суставы у местного населения в свете марксистско-ленинского учения по национальному вопросу было делом явно бесперспективным, и в поисках приложения своей бьющей через край энергии она обратила свой взор на меня. Надо сказать, что помимо суставов у Елены Агеевны было еще одно увлечение – для ленинградских интеллигентов не столь уж редкое, – она страстно любила А. С. Пушкина. И вот уважаемый профессор анатомии начала проводить со мной почти ежедневные беседы о Пушкине.

По правде говоря, я читал стихотворения Пушкина и даже поэму «Полтава» еще до Елены Агеевны. Более того, в Туркменском театре русской драмы я с большим удовольствием смотрел юбилейные постановки «Маленьких трагедий». Эти постановки казались мне тогда потрясающими, и, может быть, так оно и было; во всяком случае, они были безусловно яркими и запомнились мне на всю жизнь. Но Елена Агеевна говорила о чем-то совершенно другом – что с моей точки зрения никак к делу не относилось и совершенно меня не интересовало: в каком доме Пушкин жил, куда ездил, с кем дружил, какая у него была жена, и тому подобную чепуху. Всё это Елена Агеевна иллюстрировала какими-то стихотворениями, которые аккуратно выписывала в специально отведенную для этой цели тетрадку.

Я все это пропускал мимо ушей, хотя уголком сознания понимал, что Елена Агеевна говорит нечто противоположное тому, что, как мне помнилось, говорили в школе. У нее получалось, что Царь Николай очень ценил Пушкина, а Пушкин, в свою очередь, очень любил Царя и даже убеждал своих друзей, которые не очень-то верили в искренность этой любви, что любит его искренне, а не из подхалимажа. По этому поводу Елена Агеевна записала в свою тетрадку стихотворение «Нет, я не льстец...» и очень много на этот счет поясняла. Но в общем-то меня это мало занимало.

Не могу не признать, что Елена Агеевна не была занудой, умела говорить и вести себя так, что было очень даже занятно ее слушать, особенно если не вникать в суть ее слов. И все же моя тупость победила. После двух или трех месяцев занятий по Пушкину Елена Агеевна поняла, что пробудить у меня интерес к чему-нибудь, кроме беготни во дворе и лазанья по плоским туркменским крышам, невозможно. И отступила.

Мы расстались добрыми друзьями, и уже совсем перед войной, когда она вернулась в Ленинград, я бывал у нее. Она жила в домике, входившем в комплекс зданий Академии худо-

жеств на Васильевском острове. Жила она вместе с братом, который имел какое-то отношение к этому учреждению. С Еленой Агеевной мы побывали в Русском музее, на Елагином острове, но о Пушкине как-то речь больше не заходила.

Впрочем, лет примерно через пятьдесят, когда я стал серьезно заниматься Пушкиным, в частности, связью его произведений с конкретными фактами его жизни, многое из того, что я открыл для себя, а затем и опубликовал (например, «Николаевский цикл»), каким-то странным образом совпало с тем, что я слышал в детстве от Елены Агеевны.

Школа

Моему высокоинтеллектуальному общению с Борисом Леонидовичем и Еленой Агеевой противостояла, с одной стороны, школа, а с другой – улица. Школа – крайне низким уровнем преподавания, а улица – живостью и привольем.

Когда мы только приехали и жили у Гарриса, меня определили в школу № 2, всего в квартале от дома. Школа находилась во дворе персидской мечети, в бывшем здании медресе. Поскольку я пришел в середине года (мы приехали в декабре, а в январе были каникулы), меня привели в школу только числа двадцатого января. Классный руководитель – звали ее Ольга Максимовна – отнеслась ко мне довольно сдержанно. Это была пожилая тучная женщина с довольно недобрым лицом. Глядя на нее, можно было предположить, что в юные годы она была официанткой, парикмахершей, уборщицей, но только не учительницей.

В классе меня тоже приняли недоброжелательно. В школах вообще недолгобливают новеньких, а тут еще ребята почувствовали отношение ко мне Ольги Максимовны. Так или иначе, но уже где-то недели через две ко мне стал цепляться один из классных заводил. Мы подрались. Я был довольно крепким для своих лет, драться умел неплохо – в Ростове это было обычным делом, – но самый факт был неприятен. Я чувствовал, что другие ученики явно болели за него, а не за меня.

Несколько дней я не ходил в школу. Я вообще избегал ходить туда: делать мне там было, по существу, нечего. Чему я научился в первом классе ростовской школы – прилично считать и писать, – до этого второй класс ашхабадской школы еще не дорос. Единственное, что меня там привлекало, – это сама мечеть. Необычайно живописная, яркая, красивая, мне она тогда казалась красивейшей в мире. Я заглядывал в узкие окошки, смотрел, как персы совершают свой намаз, и это добавляло к общей экзотике, о которой я уже говорил, еще какие-то интересные штрихи.

Через несколько дней опять возникла какая-то конфликтная ситуация, и драться со мной принялись уже два мальчика и довольно сильно меня поколотили, хотя и я их тоже поколотил. Я понял, что это плохо кончится... У меня был тогда друг. Дом, в котором мы жили, как я уже говорил, принадлежал иранцу, работнику персидского консульства в Ашхабаде, у него был сын Джангир моего возраста. Мы как-то подружились. И вот когда я увидел, что там уже два парня со мной подрались, а завтра их может быть три, я попросил Джангира подходить к концу уроков к школе и помочь мне справиться, если на меня нападут. Джангир несколько дней приходил и останавливался у ворот школы и еще позвал своего приятеля. Действительно, через несколько дней на меня налетели уже не два, а три мальчика. Они, конечно, не подозревали, что Джангир со своим приятелем имеют ко мне отношение. Я стал защищаться, и в этот момент Джангир и его друг ринулись к нам, и поскольку мы были гораздо сильнее этих несчастных трех идиотов, мы их легко одолели. Я впервые тогда понял, как дрались в Средние века и что восточный менталитет Джангира абсолютно средневековый: бить, так бить. Я даже попытался сдержать Джангира, но не тут-то было. Он со своим приятелем избил этих трех мальчиков до крови...

Я, понятно, ни в какую школу на следующий день не пошел, но наша Ольга Максимовна кого-то прислала за моими родителями. Родители в школу не пошли, и я им вкратце рассказал о происшедшем. На следующий день Ольга Максимовна пожаловала к нам домой. Папы, правда, не было, была мама. Ольга Максимовна говорит: «Вот, ваш сын устроил дикую драку, избил...» Кто-то среди избитых оказался сыном важного человека в Ашхабаде.

Может быть, это как-то бы и улеглось. Но мама, которая в любое другое время стала бы на сторону учительницы и изрядно бы меня выругала, этого не сделала. По-моему, ей не понравилась хамская манера Ольги Максимовны, и она сказала: «Не знаю, что там у вас в

классе делается. На моего сына напали, естественно, он защищался. Если уж те оказались в проигрыше, это их мальчишеское дело». – «Ах, так вы его еще и защищаете! Делайте что хотите, переводите куда хотите, но я его в свой класс больше не пущу».

Когда пришел папа, мама ему все это пересказала, папа возмутился, хотел идти к директору, но я сказал: «Я тоже не хочу идти в этот класс, там нечему учиться. В Ростове я давно уже прошел то, что они сейчас проходят». Не знаю почему, но родители отнеслись к этому достаточно спокойно. С середины марта я перестал ходить в эту школу.

Летом мы от Гарриса переехали в другую часть города, на будущий год я должен был пойти в другую школу, и нужна была какая-то справка. Папа пошел к директору, сказал: «У вас учился мой сын...» Директор, видимо, был не в курсе: во всяком случае, отец принес домой изумительную справку, из которой было ясно, что я прекрасно успевал (в справке были только отличные и хорошие оценки), что я был мальчик-паинька, очень дисциплинированный (по дисциплине было выведено «отлично») и т. д. Я очень легко перевелся в другую школу – № 5.

Эта школа... Если бы я не знал, что в Туркмении не разводят свиней, я бы подумал, что там прежде был свинарник: какое-то приземистое маленькое здание, грязное, темное, спрятанное за неопрятной глиняной стеной. Ученики выглядели как-то беднее и оборванней, чем те, что учились во 2-й школе. Классного руководителя звали Берды Султанович (из чего ясно, что он был туркмен). Я уже привык, что в Ашхабаде в школу можно особенно не ходить. Я и в эту школу особенно не ходил: походил первые две недели, а потом пропускал по пять, по шесть дней. Это было даже незаметно. В школе № 2, в мечети, в классе было человек двадцать пять, а тут по меньшей мере сорок. Если я даже заходил в школу, то урок-два отсиживал, а потом уходил, и никто не замечал. Берды Султанович смотрел на все эти дела сквозь пальцы и родителей не вызывал. По-моему, он даже немного радовался: набилось в классе сорок человек, вот и хорошо, что на одного меньше. Не знаю, были ли это черты туркменского характера или его индивидуальные черты, но он как-то добру и злу внимал очень равнодушно и не оспаривал глупца. Ко мне он относился просто хорошо.

В третьем классе у нас начинали изучать туркменский язык, и я понимал, что хотя бы на эти уроки ходить нужно. Тогда туркменская письменность была на латинском шрифте (позже ее перевели на кириллицу). Я латинский шрифт знал очень хорошо, так как читал по-английски и по-немецки, но для многих ребят, которые там учились, латинский шрифт был камнем преткновения: почти весь учебный год они учились начертанию латинских букв, поэтому у меня было огромное преимущество. Все, что мне надо было для успехов в туркменском языке, – это запомнить несколько туркменских фраз, которые писались этим латинским шрифтом. В основном это были тексты с такими «исконно туркменскими» словами, как, например, «Это трактор» – «Бу тракторы́» или, скажем, «Мой папа колхозник» – «Менин ата колхозчи».

Поскольку я мог все это сказать, в общем получалось, что я хорошо знаю туркменский язык. Во всяком случае, Берды Султанович мне поставил пятерку, и больше я мог уже в школу не ходить. Я и не ходил. Всё свое свободное время я проводил с ребятами на Константиновской улице...

Константиновская улица

Константиновская улица – называя вещи своими именами, это были задворки города, – пыльная, песчаная, широкая. Движения по ней практически не было, разве что два раза в день проезжала какая-нибудь арба с маленьким осликом. Уважающие себя верблюды здесь не появлялись.

Для мальчишеской беготни лучшего места не придумаешь.

За Константиновской других улиц уже не было. Да и она была застроена лишь с одной стороны. На нее выходили хозяйственные постройки института и еще пять или шесть дворов, где жили местные русские.

По другую ее сторону тянулась полуразрушенная глинобитная стена военного городка, выстроенного еще в царское время. В двух местах стена поворачивала под прямым углом к центру города, ограничивая собой начало и конец улицы. Так что вся ее длина была метров 700–800.

Населения на улице было негусто: пять-шесть семей – потомки унтер-офицеров, отслуживших двадцать пять лет в военном городке, которых и вознаградили правом обзавестись своим домиком по ту сторону глинобитного забора.

Дедушка моего приятеля Леньки Орлова – старик Орлов, одноногий инвалид с деревяшкой, с Георгиевским крестом, с черной с проседью бородой – был участником и Турецкой войны 1908 года, и Первой мировой. Вот такие люди там и жили в то время.

Мальчишек на улице было тоже немного: кроме Леньки я помню еще Федьку, жившего в соседнем от Леньки дворе, и братьев Поповкиных – Кольку и Алюху – они жили в последнем на улице доме, если идти от института. Были еще два или три парнишки, но мне они не запомнились. Все мы были почти одного возраста, где-то от девяти до двенадцати лет.

Мы играли в обычные мальчишеские игры – гоняли мяч, что-то еще делали, но любимым нашим занятием была «война». Это была даже не игра, а своего рода образ жизни. Не знаю, чем это объяснить: то ли соседством военного городка с постоянно ухающими выстрелами, то ли генетической памятью потомков бывших солдат и унтер-офицеров, но воинственный дух был как-то органически присущ Константиновской улице.

Мы делились на две группы и начинали воевать – швырять друг в друга камнями, стремясь заставить «противника» отступить в конец улицы. При этом мы заранее уговаривались о правилах игры: ни в коем случае нельзя пользоваться рогаткой или пращей, камни можно было бросать только «от руки», бросаться можно только глиняными камешками, а так называемыми «железными» камнями, то есть кремневыми, нельзя. Договаривались, можно или нельзя прикрываться щитом – у нас у всех были большие фанерные щиты, тщательно разрисованные краской.

Все эти правила мы старались соблюдать. При этом мы, конечно, не только бросались камнями, но и старались уберечься от камней противника и совершали «обходные маневры»: бегали по крышам соседних домов, появлялись с какой-то неожиданной стороны и даже перелезали через стену военного городка. Словом, вели военные действия по полной программе. Продолжаться это могло и два, и три часа, иногда целый день. В общем, мы играли в войну на протяжении двух с половиной лет. Я думаю, что эта непрерывная игра натренировала нас как в умении метко и далеко метать камни, так и в умении избегать ударов – угадывать по движению руки, куда полетит камень, использовать для укрытия особенности местности: стены, деревья, даже дно арыка. В дальнейшем, поскольку все мы потом оказались на действительной войне, эти навыки пригодились очень кстати.

И еще одну вещь, связанную с этой игрой, я хотел бы отметить. Игра приучала к определенной честности, к войне «по правилам». Я не помню случая, чтобы кто-нибудь нарушил

наш уговор. Если мы договаривались не использовать «железные» камни – ни один такой камень не летел. Хотя мальчишки с Константиновской улицы были далеко не ангелы, могли и своровать что-нибудь, что плохо лежит, и обмануть, но в этих вопросах никто никогда ничего не нарушал.

И еще: игра определенно требовала немало ловкости, смелости, сноровки, и далеко не каждый мальчишка мог в ней участвовать, мы далеко не всех принимали, хотя многие к нам просились. Помню, мы не взяли в игру мальчика, решив, что он слишком неповоротлив; не взяли другого, потому что он был слишком медлителен, и, думаю, мы были правы, потому что когда мы приняли в игру моего школьного товарища Эрика Ромашова, ничего хорошего из этого не получилось – Эрик был интеллигентным мальчиком, физически не очень крепким, и в первой же игре он замешкался, не успел прикрыться или увернуться от камня и получил довольно тяжелую травму черепа. Мы, понятно, тут же прекратили игру, отвели его к дежурной сестре в институте, та промыла ему рану, я побежал к нашему институтскому хирургу Минье Ильичу, тот пришел, обработал рану как следует и даже наложил швы. Этот случай только утвердил наше нежелание принимать таких участников игры.

Что касается нас самих, то у нас было, может быть, два-три случая более-менее серьезных травм, а чаще это были легкие ушибы в руку или в ногу. Бывали, конечно, неприятные тяжелые ушибы, которые неделю-другую не заживали, но во всяком случае мы не жаловались и не плакали. И хотя родители мои и других мальчиков ругались на этот счет, но никто не был в состоянии запретить нам играть в войну.

В перерывах между беготней друг за другом, когда мы уже совсем уставали, мы объявляли перемирие на час-другой. Мы собирались вместе и состязались в более спокойной игре: вели так называемый «воздушный бой». В расщелинах стены военного городка жили многочисленные осы, довольно крупные, раза в три крупнее европейских. Когда оса пролетала над нами, мы старались сбить ее камешком. Сейчас в это трудно поверить, но нам удавалось за день сбить на лету трех-четыре ос.

Другой забавой, тоже связанной с «войной», были набегі на военный городок. Перебраться через стену, выходящую на нашу улицу, было нетрудно, а сразу по ту сторону стены находился специально вырытый широкий ров, в котором было тренировочное стрельбище, по-видимому, тоже оставшееся с царских времен. Там почти ежедневно проходили учебные стрельбы, и когда мы слышали, что они кончаются и солдаты уходят, мы сразу же перебирались через стену, прыгали в этот ров и выискивали гильзы от стреляных патронов – красивые такие, латунные, красноватые гильзы. Эти гильзы были очень нужны красноармейцам: они отчитывались ими за стрельбу, но гильзы обычно терялись где-то в песке, во время стрельбы солдаты не очень-то думали о них, и после их ухода довольно много гильз оставалось. Мы отдавали гильзы солдатам, а они за это разрешали нам пострелять из боевой винтовки по мишеням, изображавшим японских самураев.

Мишени были старые, тридцатилетней давности, изготовленные еще во время Русско-японской войны 1904/5 года. И вот теперь, после столкновений с японцами у озера Хасан и на Халкин-Голе (1934–35), они снова оказались востребованы.

Боевые винтовки были еще старше, образца 1891 года, слегка модернизированные в 1930 году. Они были тяжелыми, четыре с половиной килограмма, и мальчикам нашего возраста, 9–12 лет, стрелять стоя, держа винтовку на весу, было очень трудно, практически даже невозможно, и мы обычно стреляли лежа. Но конечно, то, что мы научились стрелять, было очень важно: научились переносить отдачу (винтовка сильно отдавала в плечо), отводить ухо, чтобы выстрел не оглушал, научились быстро перезаряжать и так далее. И когда в дальнейшем, несколько лет спустя, я получал призовые места за стрельбу в военном училище и в своем полку на фронте, я думаю, что не в последнюю очередь это было потому, что еще десятилетним мальчиком я научился стрелять из боевой винтовки.

2007–2008

Фронт

Выпьем за тех, кто командовал ротами.

Рассказы о фронтовой жизни, о зимнем наступлении в Восточной Пруссии 1945 г. и о взятии Кенигсберга, записанные на аудиопленку И. Ю. Юрьевой в 1999–2002 гг., преобразованы мною в два цикла новелл. Особенности устной речи при этом сохранены. Публикуются впервые.

1. Рассказы командира взвода

«Мимо-Гомельская» дивизия

Наша дивизия – 324-я – формировалась в Рязанской области во время битвы за Москву. Она входила в 50-ю армию и воевала на 2-м Белорусском фронте.

Долгое время нашей дивизии не давали никаких орденов или званий, не знаю почему: тогда всякие почетные названия сыпались направо и налево – Курская, Орловская, Киевская, Таманская... ордена Суворова, ордена Кутузова и т. д. А нашу дивизию трижды представляли к ордену Красного Знамени – и безрезультатно, и мы для смеха называли ее *Трижды-орденопросная*. А тут во время летних боев в Белоруссии мы прошли в двух километрах от Гомеля, соседней дивизии дали название «Гомельская», а нашей опять ничего, так что стали называть ее в шутку еще и *Мимо-Гомельская*: «324-я стрелковая Мимо-Гомельская Трижды-орденопросная дивизия». Но потом всё-таки ей дали за Верхний Днепр – «Верхне-Днепровская» (за форсирование Верхнего Днепра в районе Красницы и Смолицы) и «Красное Знамя» – не знаю уж за что, хотя в общем воевала она неплохо.

«Славяне»

Солдат-пехотинцев у нас почему-то называли «славяне». Не очень понятное название, главным в нем был такой, я бы сказал, отечески-заботливый оттенок, ну, скажем: «Только смотри там, чтоб твоих славян не поранило», «Надо их как следует покормить – наших славян», «Славянин с третьей роты прибежал: докладывает, что у них там немцы атакуют». Причем это говорили не люди, которые сами были не славяне, а тот же наш комбат украинец Николай Балан или адъютант старший Андрей Кузин, которые были точно такие же славяне с точки зрения происхождения, но они как бы не попадали под это понятие, а «славяне» – это было название для рядового солдата, ефрейтора и т. д. До известной степени это соответствовало действительности, потому что, скажем, в нашем батальоне, по-моему, 99,9 % были украинцы, русские и белорусы. Поскольку мы были на Белорусском фронте, пополнение шло за счет Белоруссии, в основном это были белорусские крестьяне...

Вообще пехота состояла на 99,9 % из трех славянских национальностей. С этим ли было связано то, что пехотинцев называли «славяне»? По-моему, нет, по-моему, это как-то по-другому было. Уровень образованности, что ли, имел здесь значение. Ясно, что если у кого-то было хоть какое-то образование, он попадал в артиллерию, в танковые части, в авиацию. Если он еще к тому же обладал повышенным чувством самосохранения, он попадал в какие-то тыловые части: в связь (правда, связь на фронте была столь же опасна, как и всё остальное), в обслуживание аэродромов, баз снабжения, в госпитали, то есть в тыловые медицинские части, потому что медицинские части в подразделениях на уровне батальона или полка были крайне уязвимы, скажем, вынос раненых с поля боя – не менее опасное дело, чем собственно движение войск в наступлении и особенно при отходе...

Числовой пароль в пределах десятка

У нас был пароль, общий для всего полка: нужно было знать какое-то слово и какое-то ему родственное слово. Скажем, пароль «кружье» – ты должен был ответить «курок». Пароль, скажем, «самолет» – отзыв «бомба», и т. д., и т. д., причем всегда были парные такие вещи. Это был общий пароль, а кроме того, был траншейный пароль уже на уровне роты или бата-

льона. Это был числовой пароль: скажем, говорили, что сегодня пароль будет «семь». И если солдат на посту в траншее видел, что к нему кто-то подходит, он называл какую-то цифру, например, «три». Зная, что пароль «семь», ты должен был срочно эту тройку из семерки вычестить и ответить «четыре». Или, если он говорил «два», соответственно ты должен был сказать «пять». Считалось, что это как бы сбивало с толку якобы подслушивающих нас. Ну, я сильно сомневаюсь, что кто-то там подслушивал, но идея была такая, что могут подслушать и, конечно, они будут сбиты с толку, потому что всё время разные вопросы и разные отзывы на пароль. Но не разрешалось назначать пароль свыше десятка во избежание того, чтобы наши славяне как-нибудь не запутались в счете, потому что уже надо было бы долго считать в уме, какой будет отзыв, за это время тебя могли даже и подстрелить. Ну, это, конечно, я в шутку – никто в тебя стрелять бы не стал, но полагалось, чтобы пароль не превосходил десяти.

– *Говорят, был специальный приказ на этот счет маршала Рокоссовского?*

– Ну, я не знаю, какие были вообще приказы. До нас приказы не доходили в виде приказов. Говорил командир батальона или, соответственно, командир роты, что вот надо так-то и так-то. Это было для нас достаточно. Какие он там получал указания, я не знаю.

Буряты и «самовары»

Еще у нас, если говорить о секретности, учудили и такое – не знаю даже, кто это придумал, – чтобы на телефонную нитку сажали двух человек одной какой-нибудь редкой национальности, скажем, двух бурят или двух адыгейцев. Вот они, сидя на разных концах телефонной линии, и будут на своем адыгейском языке передавать друг другу важную информацию, и никакой противник их не поймет, даже если подслушает.

Не знаю, как противник, но, по-моему, и сами эти буряты не очень-то понимали, что от них хотят, чтобы они передавали, и лопотали что Бог на душу положит – всякие личные впечатления: как устроились, чем сегодня кормили, что из дома пишут... А когда доходило дело до военной информации, они всё равно переходили на русский язык, потому что никаких военных терминов, кроме как кинжал или копье, в этих языках нет: танк, артиллерия, авиация, самоходка, дивизия – всё это произносится у них в чистом виде по-русски.

В этом смысле, когда русские телефонисты называли, там, самоходки «самоварами», пулеметы «трещотками», танки «железками» или «коробками», а «катюши» – «надюшами» или «парашами», конспирация получалась даже надежнее, чем у бурят. Хотя толку от этого тоже было мало. Потому что одни называли «самоварами» самоходки, другие тем же словом обозначали минометы, третьи – танки. Командиры, для которых предназначалась вся эта зашифрованная информация, разбирались в ней, насколько я мог судить, главным образом по догадке и редко ошибались. Зато уж подслушивающий противник точно ничего не понимал – за это можно поручиться.

Генеральский мат

Надо сказать, что во время войны, по-моему, я ни одного ни полковника, ни генерала не видел. Самое старшее, самое главное военное лицо, которое я видел, – это был подполковник, наш командир полка Кольченко (кстати, тоже вот украинец). Его к нам прислали вскоре после того, как я попал в полк, а до этого был – я его плохо знал, запомнил только его фамилию – подполковник Жаворонков. Они никогда особенно не сошлись на линию фронта: конечно, у них много дел было в полку... Хотя Кольченко был смелый человек. Да, во время наступления он пару раз попадал в наши ряды... При этом он почему-то ходил с палочкой, и я даже помню, как он один раз поколотил нашего комбата палкой (была и такая история) и

кричал, что «вы тут как пионеры воюете – надо так, надо эдак...» Я уж не помню, чем он был недоволен, всё как раз у нас было совершенно нормально. Всё это было на моих глазах... Не так чтобы больно побил, но выдал свое презрение к нему с помощью дубины. Но тем не менее комбат к нему относился неплохо. Мы хорошо вообще относились к командиру полка: он бывал в боевых порядках, и чувствовалось, что он человек опытный и смелый.

А дивизией у нас командовал полковник, потом он стал уже к концу войны генералом, его фамилия была Казак. Его я вообще в глаза никогда не видел, знал только фамилию. Это командир 324-й дивизии. А у него был заместитель, тоже полковник, тоже, кстати, украинец, – Осадчий. И единственный случай, когда я его видел, – когда наш батальон сбился с отмеченного на карте пути, а он поехал именно по карте, в другую сторону, где наших войск не оказалось, ну, его и обстреляли немецкие автоматчики. Он потом матерился, матюгался: как же это так? Он думал, что идет за нами, едет в наш батальон – хотел посмотреть, как мы наступаем, а в действительности мы свернули не туда, куда надо (немцы намеренно переставили указатели на дороге), а он поехал правильно и оказался, так сказать, вне защиты, выскочил прямо на немецких автоматчиков и еле ноги оттуда унес – он на санках, по-моему, мчался, – развернулся, прилетел к нам и ругался на чем свет стоит.

Вообще надо сказать, что вот военная ругань – она совершенно не такая спокойная, противенькая, как ругаются в мирное время. Там, на фронте, очень сочные выражения – я, естественно, не буду их воспроизводить, – такой многоярусный хороший мат, с большими такими производными, с использованием русских префиксов и суффиксов, которые в общем-то в мирное время для этого даже и не используются. Эмоциональный такой подъем, генеральский мат, я бы сказал.

«Наш, не наш – полезай в блиндаж!»

Вообще в пехоте были и свои приятные особенности. Стреляли по нам в основном из винтовок, пулеметов, из полковой артиллерии в лучшем случае. Тяжелая артиллерия старалась стрелять куда-нибудь подальше: по тылам, по более значимым целям, чем какие-то там паршивые пехотинцы. Причем, даже если видели немцы (во всяком случае, это уже на территории Германии) – видели одного-двух человек, их это как-то мало волновало: на них они снарядов не тратили... То же самое касалось авиации. Наша авиация в период операции в Восточной Пруссии в основном бомбила Кенигсберг. А вообще, что наши, что немцы бомбили главным образом тылы, крупные города, крупные базы, а вот так, чтобы бомбить передний край, – это было редко и всегда очень рискованно, потому что непонятно, попадешь по своим или по чужим – с воздуха не очень там видно всё, как это получалось. Вообще, когда появлялся самолет, а самолеты в Восточной Пруссии в основном появлялись наши, а не немецкие – там было явное у нас господство в воздухе, – они начинали обстрел или сбрасывали бомбы, и это нам, понятно, не очень нравилось, и даже была такая присказка. Появляется какой-то самолет, спрашивают: «Наш?» – «Наш, не наш – полезай в блиндаж!»

Потому что вообще то, что и свой может обрушить на тебя что-нибудь такое малоприятное, – это факт. Особенно самолеты-штурмовики. В то время были самолеты «Илюшины» – Илы-штурмовики, на которых были установлены ракеты типа «катюш». Один раз как-то получилось, что мы попали под обстрел двух или трех таких штурмовиков – и ничего хорошего, во всяком случае, недалеко от нас разорвалось несколько реактивных снарядов.

Мы должны были обозначать свой передний край с помощью сигнальных ракет. Но и немцы стреляли из ракетниц, и мы стреляли из ракетниц, у нас были и красные, и синие, и зеленые ракеты, и у немцев – такие же, и я не уверен, что летчики во всем этом разбирались и четко помнили, какими ракетами обозначался наш передний край...

Адъютант старший батальона

В полку был начальник штаба – майор Лаврентьев, человек очень талантливый, толковый, долго прослуживший в полку и много сделавший для хорошей организации полка. У него было четыре помощника. Первый помощник начальника штаба – по оперативной работе, я его не помню почему-то. Лаврентьев настолько всё делал сам и хорошо, что ПНШ-1 практически в моем сознании не остался. Потом был ПНШ-2, отвечавший за разведку, ПНШ-3 – даже не знаю, чем он занимался, и ПНШ-4 – это так называемый строевой отдел, который ведал учетом, справками и т. д.

В батальоне тоже был своего рода штаб, но этот штаб состоял из одного офицера и вестового, там, собственно, и не полагалось больше. Официально эта должность называлась старший адъютант, или *адъютант старший* батальона (это еще шло, по-моему, от царской армии – такое название). В нашем конкретном батальоне этим занимался Андрюша Кузин, который казался мне очень старым, потому что мне-то было 18 лет, а ему было уже то ли 22, то ли 23. К тому же я был младшим лейтенантом, а он был целым капитаном – это вообще уже было, трудно даже сказать, как высоко, как далеко: мне тогда казалось, что до капитана дорасти почти невозможно. Он был уроженец Москвы, хороший такой, славный русский человек, с большим чувством юмора и с удивительным спокойствием. Профессионально он блестяще, конечно, знал всё. Именно он учил меня работать по карте, соотносить по карте. И всегда, когда он что-нибудь там приказывал или поручал, он прибавлял что-нибудь такое юмористическое и делал это с таким легким смешком.

Храбрость у него была... ну, вот я вспоминаю, как Лермонтов пишет про Грушницкого в «Герое нашего времени», что он бросался в бой, закрыв глаза, – это как-то не русская храбрость. Так вот у этого была совершенно русская храбрость: абсолютно никакой рисовки, он совершенно спокойно реагировал на обстрел.

Помню такой случай. Когда чистишь оружие, иногда бывает, однажды это случилось и у меня – вытащил магазин и думаешь, что пистолет разряжен, а в действительности в стволе остался патрон, – и я, когда чистил пистолет, поднял его стволом немного вверх, как полагалось, нажал на спусковой крючок... и он выстрелил, и пуля пролетела буквально в двух миллиметрах от волос Кузина – я рядом с ним в это время стоял. Я просто обомлел от ужаса, а он только сказал: «Ну, ты поосторожней всё-таки!» – вот собственно всё, что было сказано при этом, даже ни одного бранного слова или упрека не прозвучало – всё было и так ясно. Вот это как раз показатель и сдержанности, и отношений между людьми, ну и, если угодно, это, конечно, определенная храбрость, которая не предполагает даже мгновенного испуга или раздражения в момент, когда мимо твоего уха свистит пуля.

Кузин блестяще знал топографию и перед любой операцией собирал командиров рот, других офицеров и очень тщательно объяснял по карте, что, как и где мы должны делать. При этом он особое внимание обращал на складки местности, на возможности укрытия и всегда требовал, чтобы ни при каких обстоятельствах не гнали вот так по полю в лобовую атаку, чтобы проходили скрытыми путями: если нужно выйти туда – вот давайте посмотрим, как лучше всего туда пробраться, чтобы не терять солдат. Если он понимал, что идет сильный огонь, он старался положить роту, батальон, чтобы те не лезли, когда не надо и куда не надо.

Вообще вот это мнение, что якобы на славян – на солдат, рядовых, смотрели, как на пушечное мясо, – оно на опыте нашего батальона совершенно не подтверждалось: делалось всё, чтобы сберечь солдат. И делалось умно. Задание выполняли, но использовалась любая складка местности, любая идея обхода, и по времени как-то учитывалось, когда будет более густой огонь, а когда он может ослабнуть.

И в этом смысле мы все – командиры меньшего ранга, – конечно, учились у него. Я бы сказал, что он своей такой заботливостью, предусмотрительностью просто многим из нас спас жизнь. Я вообще не уверен, что вот попадись другой адъютант старший батальона, другой командир батальона (ну, может быть, и другие были такие же хорошие, мне трудно сказать: я всю войну провел только в одной части), то глядишь, можно было остаться без головы. И я считаю, что обязан своей жизнью, тем, что я сохранился на фронте (а вообще-то в пехоте сохраниться было не так-то легко) – я во многом обязан вот этому высочайшему профессионализму, сообразительности и такому чувству солдатской, офицерской ответственности Андрюши, Андрея Кузина.

Благодаря чему мы переигрывали немцев

И в училище нас неплохо готовили по топографии, и наш адъютант старший, как я уже говорил, придавал очень большое значение умению читать карту. Я вообще читал карту очень хорошо и до сих пор ее хорошо читаю, но в те времена просто это было главное. И я думаю: что, собственно, есть профессионализм военного человека, вот именно такого пехотного командира – командира роты, батальона, – это умение понять, увидеть местность еще до того, как ты на эту местность попал, и понять, как этой местностью воспользоваться. То есть где можно расположить своих солдат, как лучше идти туда, как немцы попробуют ею воспользоваться, – зная психологию, зная, ну, что ли привычки, как действуют немцы.

Немцы всегда действовали довольно однообразно, честно говоря. В этом были свои плюсы – их, так сказать, плюсы. Правильно говорили тогда, что они обычно действуют по шаблону. Но в этом были и их минусы – они были очень предсказуемы. Не то что в теперешних войнах с чеченцами, предположим, или с афганцами: немецкая армия, немецкие солдаты и офицеры были очень предсказуемы. И если ты видел и понимал местность, ты почти наверняка мог предугадать, где они расставят артиллерию, где они поставят пулемет (если он у них есть), где у них будут солдаты находиться. И с помощью карты ты прекрасно понимал, что ты можешь сделать.

То, что мы были гораздо более маневренными, гораздо более гибкими и у нас таких вот стереотипов поведения, шаблонов все-таки не было, как у немцев, – это факт, и в этом смысле, именно в этом смысле мы, конечно, немцев переигрывали. Вот наш, скажем, командир батальона или офицер, планировавший боевые действия, то есть адъютант старший батальона, – его тактическое мышление было гораздо более гибким и эффективным, чем у соответствующих офицеров Вермахта. Тем более что такими небольшими подразделениями у них руководили не офицеры, а в основном обер-ефрейторы, фельдфебели и т. д. – офицер у них уже руководил более крупным подразделением. То, что у нас офицеры как бы спускались до самого низшего звена, это тоже до известной степени способствовало такому переигрыванию немцев в тактическом плане. И я бы сказал, что когда Сталин говорил, подводя итоги войны, что победил там наш экономический строй, наш политический, общественный строй, – это, может быть, верно, но в действительности он упустил очень важную вещь: победил наш более гибкий интеллект, то, что мы называем солдатской смекалкой, большая гибкость военного мышления. Вот это, по-моему, очень важный момент. По крайней мере, на уровне пехотного батальона, пехотного полка, безусловно, это было так.

Как мы обходились без огневой разведки

У нас там среди прочего была такая еще «забава». Из штаба полка вечно требовали, чтобы мы присылали маленькие карты-схемы с расположением немецких огневых средств. Ну, чтобы готовить наступление, нужно было представлять себе, где немцы, где у них пушки,

где пулеметы, где у них снайперы и т. д. И для этого велась так называемая огневая разведка, то есть мы как бы провоцировали немцев: делали несколько выстрелов, а те начинали отвечать, и в это время надо было засекать: здесь у них то, здесь у них то, здесь у них то. При чем опять-таки, вот разница между русскими и немцами: если русский пулеметчик стрелял, после этого он немедленно смывался на другое место. Даже поговорка сложилась: что главное для пулеметчика? – вовремя смыться. Отстрелялся – и сразу же тащи пулемет на другое место, и это совершенно правильная вообще политика. А немец отстрелял из своего пулемета – он этот пулемет оставлял на том же месте. Я помню, по несколько раз даже это бывало: неделя проходила – как он поставил свой пулемет, так этот пулемет у него там и стоит, и никто его оттуда не выгонит.

Ну, иногда мы действительно проводили эту огневую разведку, но иногда ленились: неохота было стрелять, да и потом не очень-то приятно – тут и по тебе начинают стрелять... Чего ради? Если это и не наступление, и ничего, просто ради удовольствия поставить три крестика на карте, а немцы могли после этого стрелять и двадцать минут, и целых полчаса, растревоженные, как пчелиный улей... Поэтому, я помню, не один раз так бывало – значит, сидит это Андрюша со своей картой: «Эх, надо в штаб отправлять донесение, где у них что. Ну, Ленька, куда бы ты поставил пулемет немецкий на их месте?» – Я говорю: «Вот сюда». – «Правильно, и я так думаю, – поставим». И начинал разрисовывать донесение в штаб. По сообразительности, так сказать, а не по данным огневой разведки. Он вел, конечно, достаточно огневую разведку, но иногда бывали и такие казусы.

Как двигалась пехота

Когда мы форсировали реку Бобр (по-польски Бебжа), то по болоту было не пройти – там с каждой стороны берег заболочен на полтора-два километра. И наши саперы еще в период затишья проложили огромную четырехкилометровую гать, то есть валили-валили деревья и одно к другому привязывали, состругивая лишние ветки – и можно было по этому настилу и пройти, и проехать на лошадях – машин-то у нас вообще не было. Автомобиль был бессмысленен: просто он не мог бы идти по этому дикому бездорожью, по лесам, по болотам (в Польше и Белоруссии вообще жуткие места), а дороги все минированы и простреливались, так что, конечно, только на лошадях и можно было, а лучше всего пешком, что мы и делали...

Между боями батальон, собственно даже весь полк передвигался таким нестройным маршем. Это не такой марш, как идут в мирное время. Даже не требовалось, чтобы шли в ногу, требовалось только, чтобы было охранение⁴ и чтобы люди как можно меньше уставали, потому что нагрузка была страшная: у каждого или винтовка, или автомат, боеприпасы – боекомплект 120 патронов, хлеб, что-то еще в этом вещмешке – какие-то свои пожитки. Каску обычно успевали выбросить сразу, потому что уж лучше пусть в голову попадет, только бы не тащить эту тяжесть, и без того хватало тяжестей. Обочины дорог после прохождения пехоты прямо пестрели оставленными касками. Хозвзводцы их подбирали, потом выдавали снова, – и опять та же сказка про белого бычка.

Наступление в Восточной Пруссии было очень своеобразным. Мы какое-то время – иногда 10–20, иногда даже 40 километров – шли просто маршем, не встречая никакого противника. Но вдруг внезапно нас обстреливали, и мы уже попадали в положение, когда и слева, и справа, и впереди нас были немцы, и надо было сразу из походного порядка разворачиваться вдоль дороги: за насыпь, в лес, за деревья – что случится, – и начиналась перестрелка. Такого рода бои завязывались постоянно и могли продолжаться и час, и день, и два.

⁴ Подробнее о боевом охранении см. стр. 72.

Но потом опять немцы начинали отступать, быстро от нас отрывались, и мы опять два-три дня шли походным маршем.

Двигались мы довольно интенсивно. Самое большое, что мы проходили в день, – это один раз примерно 38 километров прошли, а так 28–30 километров в течение дня. Это очень тяжелая нагрузка: идем навьюченные, встали где-то около пяти утра, и нужно было километров 8–10 пройти до первого настоящего привала...

Но так продолжалось только до Мазурских озер, когда боев было мало. А дальше уже такие перемещения маршевые кончились, и двигались с другой скоростью – дай Бог, 3–4 км в день.

Как немцы переняли опыт Александра Невского

Это было в первые дни нашего наступления в Восточной Пруссии, когда немцы сменяли таблички на дороге. Там были деревушки Кляйн Цолерндорф и Гросс Цолерндорф. Ну, они взяли и поменяли местами указатели: Кляйн – где Гросс, а Гросс – где Кляйн. А мы шли, полуглядя на карту, у немцев таблички, указатели хорошие, поэтому дело облегчалось: чем посмотреть лишний раз на карту да еще по компасу проверять, где там север, где юг, проще посмотреть указатель: ага, Кляйн Цолерндорф – нам туда, значит, идем туда. Короче говоря, мы сбились с пути и вместо одного направления пошли по другому и вперлись в заснеженное озеро и чуть там не провалились...

Но уж не знаю, то ли моя врожденная дотошность, то ли что, но я еще до подхода к этому озеру посмотрел на карту и обратил внимание, что, кажется, мы идем не туда. Поскольку я был в прекрасных отношениях с нашим начальником штаба Андреем Кузиным (ответственность за движение лежала на нем), я приостановился – я шел немного впереди со своим взводом – и говорю ему: «Андрей, что-то, по-моему, мы не туда идем». Ну, он, конечно, рассмеялся: «Как не туда?» Я говорю: «По-моему, вот тут надо было идти прямо, а мы повернули влево и пошли не по той дороге, а по этой», – и показываю ему по карте.

Но тут его по какому-то другому делу отозвали, и получилось так, что мы влипли: головной взвод и две передние сорокапятимиллиметровые пушки, которые почему-то шли сразу за ним в голове батальона, начали проваливаться под лед – незаметно мы уже вступили в озеро. В том месте берег был низкий, пологий и буквально сливался с озером, которое было сплошь покрыто снегом, а под ним еще очень тонкий лед... Тут-то Андрюша понял, что дело плохо. Он сразу схватился за карту, меня подозвал, дал понять, что был неправ, не отреагировав сразу, и говорит: «Ну-ка, где мы, по-твоему?». И мы сообразили, что не просто мы в озеро попадаем, а там уже метрах в тридцати начинался такой высокий обрывистый берег, поросший кустарником, – идеальное место для засады, и если б мы все вышли на озеро, нас с этого берега легко бы перестреляли. Я говорю: «Смотри, тут же обрывы, там явно сидят немцы, не просто же так они нас сюда заманили». Тут уже подошел наш комбат Николай Балан: он сразу всё понял, матюгнулся на меня и на Андрея, развернул батальон в боевые цепи и повел на эти обрывы со стороны берега. Там действительно были немцы, правда, не так уж их было много, и они драпанули, как только мы открыли по ним огонь и начали туда двигаться.

Меня тогда представили к ордену Александра Невского, который мне, конечно, никто не дал, но «Красную Звездочку» дали (у меня до этого орденов не было, а там была какая-то иерархия: надо было сначала получить «Звездочку», потом «Отечественную войну», только потом можно было «Александра Невского»). Я помню, что сам комбат и начальник штаба ездили в полк или в дивизию – куда там надо было – и требовали, что поскольку я был «виновником» серьезной победы на льду озера, мне полагается не «Красная Звезда», а орден

Александра Невского. Они очень этого хотели, и мне это было очень и очень приятно само по себе, а орден, повторяю, я получил совсем другой – Красной Звезды.

Achtung, Panzern!

5

Был еще случай (мало для нас почетный), когда мы так мирно шли, как я рассказывал, по дороге, ожидая, что наше охранение нас поставит в известность, если что-нибудь не так. В этот момент из-за бугра выскочило несколько немецких танков, а танки тихо ходят только в кино, тут они мчатся быстро, точно так же, как автомобили сейчас по проспекту, когда нет пробки. Со скоростью примерно 40–50 километров в час, лязгая, стреляя, они ринулись к дороге... Что тут было делать? Или пытайся по ним стрелять, или делай ноги, если ты пехотинец и у тебя нет пушки. Мы не успели развернуть свою противотанковую артиллерию и ринулись бежать, а танки по нам стреляют и стреляют... Я мчался, как лермонтовский герой:

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрее, чем заяц от орла...

У меня вообще хорошие были показатели по легкой атлетике, вот я их и проявил... Прыгнул в реку – она была подо льдом, – да так прыгнул, что провалился, еле выскочил на противоположный берег (плаваю я ужасно, а тут еще намокшая шинель) и мчался, пока не домчался до какого-то хутора, где почему-то сидели наши полковые разведчики (которым полагалось бы своевременно доложить нам об этих танках) – они там сидели и пили. Командир взвода разведки, мой такой приятель, матюгнулся: «Ты чего влетел, как с... сорвался? Чего ты такой мокрый?» Я, задыхаясь от бега, только и мог выдохнуть: «Там танки!»

Мне дали полстакана спирта, и ситуация сразу же показалась не такой безнадежной...

Но это был скандальный случай. Я не помню сейчас конкретной даты – это было под деревней Вернегиттен, где-то числа 3–6 февраля, когда немцы организовали контрнаступление и ударили нам во фланг, причем во фланг не только там батальону, полку или нашей 324-й дивизии, а всей 50-й армии генерала Болдина, за что его потом и сняли, и сняли его с формулировкой, что он не обеспечил противотанкового прикрытия. И потом, когда мы двигались дальше, то у нас слева, не давая нам толком идти, грохотали две небольшие пушки. Собственно, они шли с нами и до этого, только на своем месте, в колонне. А когда внезапно появились танки, их просто не успели за несколько секунд привести в боевое положение. Но больше таких случаев, к счастью, не было.

– *Куда делись те немецкие танки?*

– Пока танки обстреливали голову колонны и мы разбегались, где-то в хвосте колонны артиллеристы все-таки успели развернуть пушки – у них было больше времени. Слава Богу, у нас в полку была истребительно-противотанковая артиллерия прекрасная – 100-миллиметровые ЗИСы так называемые. Видимо, стали по танкам палить из этих пушек. Я сам этого ничего не видел, но думаю, что так и было, потому что танки ушли. Когда я с нашими разведчиками ми вылез, и наш полк, наш батальон стал собираться воедино, меня спрашивает Кузин: «Ленька, – говорит, – а сколько раненых, ты мне хоть можешь сказать?» – Я говорю: «Понятия не имею». – «Давай, вперед, и чтобы всех вытащили... А ты, Редькин, где потерял пулемет? – говорит ему Кузин. – Ты мне пулемет притащи!»

⁵ «Внимание, танки!» (нем.) – заглавие известной книги немецкого теоретика танковой войны генерала Гудериана.

Было уже к вечеру, мы в темноте туда подобрались, я взял с собой своих солдат, и мы стали вытаскивать – человек шесть или семь раненых вытащили, кроме того, опознали человек пять или шесть, к сожалению, убитых (сожженных – танки стреляли термитными снарядами). Там, я помню, такой казах был очень симпатичный, Байшатов, снайпер наш Соколов, другие люди – многих, к сожалению, убили в тот день, многих ранило... Редькин со своим солдатиком вытащил полуполоманный пулемет, который тоже нельзя было оставлять врагу. И в общем-то выяснилось, что у нас были солидные потери.

Тут я еще должен сказать, что у нас там был совсем герой-человек, заместитель нашего командира батальона, которого только-только к нам прислали, полуштатский человек, хотя в капитанском звании (даже погоны у него не полевые были, а какие-то золотые). Его фамилия была Ч**ев. Он совершенно не понимал, что нужно делать, чего не нужно делать, и его убило вполне закономерно. Я как сейчас помню: он вдруг, когда увидел эти танки – все побежали, а он выхватил свой пистолет и точно как полагалось бы в кино закричал: «Вперед! За мной!» – И побежал на этот танк. Никто за ним, разумеется, не последовал: это было настолько бессмысленно – без гранаты бежать с револьвером на танк. Танк приостановился и спокойно его из пушки расстрелял, и когда я обернулся, Ч**ева уже не было...

К сожалению, на фронте за неумение воевать расплачиваются именно так. И это не верно, что там все в равных условиях. Люди, имеющие опыт и умеющие воевать – они все-таки, как правило, сохраняли себя. Тут основной принцип: бояться не надо, но осторожность нужна, потому что от того, что тебя убьют – никакой пользы: ни стране, ни в данном случае сражению. Бывают, конечно, ситуации, когда приходится рисковать, но вот так, переть на танк с револьвером – ну, я не знаю, кажется, ребенок бы сообразил...

– *А чем можно было подбить танк? Гранатой? Или бутылкой с зажигательной смесью?*

– У нас в то время действовал боевой устав пехоты 1942 года (БУП-42), в котором среди прочего был такой пункт: «Бойцу не страшны танки противника: при приближении вражеского танка...» – и далее там подробно излагалось, как, значит, следует этот танк размазать по местности с помощью гранаты, бутылок и т. п. Я не помню, понятно, точного текста этого пункта, но помню, что для себя мы его переиначили так: «Бойцу не страшны танки противника: при приближении вражеского танка боец уничтожает его гранатой, лопатой и иными подручными средствами».

А если серьезно, идущий на тебя немецкий танк гранатой не взорвешь – лобовая броня у них была очень мощная. Значит, чтобы его взорвать, надо пропустить его над собой или рядом с собой и попасть гранатой в заднюю часть или брюхо танка. На это мало кто способен... А бутылки действительно существовали. У нас был один случай, когда мы тоже в наступлении в Восточной Пруссии зашли в какой-то городок и к ужасу своему на перекрестке увидели, что стоит немецкий танк. Это было так неожиданно, видимо, и для танкистов тоже, и они нас, наверное, не сразу увидели. А впереди меня, рядом, буквально в двух шагах, шел старший сержант, мы с ним только-только о чем-то говорили. Он так растерялся, когда увидел этот танк с немецкими крестами... У него за поясом были и гранаты, и бутылка с горючей жидкостью, по-моему, даже две (он вечно себя обвешивал такими вещами), он выхватил эти бутылки и прямо по танку – ну, на расстоянии трех-четырех метров он от него находился. И тут же успел крикнуть: «Ложись!» – И кубарем от танка, я тоже за дом куда-то свалился... Этот танк полыхнул!

Ему потом дали, по-моему, орден Ленина или Героя Советского Союза – всё правильно. Ну, от неожиданности и от испуга ему это удалось. А вот так, в бою, подпустить к себе танк, как это прописано в уставе, и успеть это сделать при том, что немец тебя видит, – я таких случаев не знаю.

Я даже помню, когда представляли к орденам, то надо было писать, за что. Ну, всегда какую-то залипуху писали. Один раз на батальон попросили, если я не ошибаюсь, пять орденов за то, что якобы было подбито пять танков. Пошла эта бумага в дивизию, и ее вернули обратно, на ней командир дивизии полковник Казак написал: «Не видел подбитых танков. Казак».

А тут, в данном случае, всё налицо: нормальный танк, нормально подбит, и главное, что даже орден дали тому, кто подбил...

А вообще-то по-настоящему противостоять танкам могла только мощная противотанковая артиллерия.

Уличный бой в Николайкене

Городок Николайкен стоял на озерах. Это знаменитые Мазурские озера. По истории я хорошо знал, что там в Первую мировую войну погиб корпус генерала Самсонова – немцы там организовали эффективную оборону. И у меня было предчувствие, что и тут они что-то в этом духе сделают. И действительно, в Николайкене они организовали бешеную оборону: на церковной колокольне установили пулемет, артиллерию поставили за озером с той стороны города и нас начали поливать сильнейшим огнем. Но тем не менее мы в город все-таки сумели ворваться, и это был один из немногих случаев, когда завязались настоящие уличные бои. А городок старый – с очень узенькими, кривыми улочками, идущими то немножко в гору, то немножко под гору... И вот по этим улочкам мы друг за другом гонялись, прятались, стреляли друг в друга из-за углов...

Помню, как я выскочил на базарную площадь, и вот совершенно неожиданно мне первый раз в жизни открылась картина, которую потом я видел столько десятков и сотен раз: большая площадь, ратуша с башенкой, рядом аптека и *Bakerei* (булочная) – то есть всё то, что обычно бывает на центральных площадях старинных немецких городков. Меня это живописное зрелище тогда так поразило, что вместо того, чтобы стрелять и смотреть, где немцы, я открыл рот и как замороженный смотрел на эту площадь, где ряд таких милых разноцветных домиков и такой красивый шпиль на ратуше, немного поодаль – старинная кирха с колоколенкой... А с колокольни – вдруг очередь из тяжелого крупнокалиберного пулемета... И я даже не то что очнулся, а почувствовал, что меня кто-то ткнул по голове, и я упал. Оказалось, это мой старшина Иршинский увидел, что я зазевался, и решил меня положить, чтобы, не дай Бог, меня не пристрелили, пока я тут любуюсь чудным видом. Ну, действительно, спасибо ему, потому что пули просвистели прямо тут же...

Как мы разметали «глубоко эшелонированную оборону»

Вся эта беготня по улицам продолжалась, наверное, часа три. Мы к Николайкену подошли до рассвета – было часов шесть утра, когда раздались первые выстрелы и убили нескольких наших солдат. Часов в семь мы в город ворвались, и я думаю, где-то часам к десяти – к половине одиннадцатого вся эта беготня со стрельбой кончилась, и нам приказали отойти, потому что немцы засели в домах, и от того, что мы бегали по улицам, никакого толку не было: они засели в домах и с крыш, со второго этажа поливали нас из автоматов, из винтовок, даже из пулеметов иногда и, в общем, нанесли нам довольно ощутимые потери. Поэтому через вестовых нам всем приказали оттянуться и вернуться на окраину городка. Там к этому времени уже находился наш командир полка подполковник Кольченко с начальником артиллерии, командиры батальонов, много других офицеров.

Командир полка на этот раз был в довольно благодушном настроении и сказал, что мы очень хорошо действовали, что ворвались в город, но то, что мы делали, совершенно

недостаточно. И сообщил нам свой план: через два часа, то есть примерно с двух до трех, будет действовать артиллерия, которую уже к тому времени расставил за пределами города начальник артиллерии, – вся полковая артиллерия нанесет методический артиллерийский удар по уже разведанным немецким целям, причем это будет не быстрый артналет, а именно в течение часа такой методический огонь. Ровно в три часа мы должны быть готовы к тому, чтобы начать действовать: нам дали участки – первому батальону, кажется, северную часть города, второму – центральную, нашему третьему – южную часть города.

Было приказано разбиться на штурмовые группы, каждому офицеру взять с собой двух, трех, максимум четырех солдат (офицеров было много, а солдат уже к тому времени было довольно мало) и высаживать немцев из домов: не гоняться за ними по улицам, а именно занимать дома. К этому моменту должны были подвезти большое количество ручных гранат, надо было каждого солдата вооружить пятью-шестью ручными гранатами, самому набить себе карманы гранатами и использовать вот эту карманную артиллерию. Более того, комбатам было разрешено взять 45-миллиметровые пушки, которые у них в свое время начальник артиллерии отобрал, и в случае необходимости действовать непосредственно: прямой наводкой бить по домам, по крышам, где засели немцы.

Надо было точно сверить часы: действовать мы должны были, когда смолкнет артиллерия, начиная с трех часов, но главное было в другом: нам на это отводился ровно час. Ровно в четыре часа мы должны были все спуститься в подвалы домов – там идет бой, не идет бой, – залечь, потому что в четыре часа снова начнет действовать наша артиллерия: за час боя артиллерийские разведчики засекут все крупные немецкие цели и дадут еще двадцатиминутный артналет по этим целям. И ровно через двадцать минут, по окончании артналета, когда уже будет подавлена основная масса этих немецких целей, мы должны были снова продолжать и завершить все свои дела: выбить немцев из домов и в конечном счете выгнать их из города.

Командир полка сказал: «Прошу обратить особое внимание, чтобы всё делалось точно по времени. Часы у всех есть?» У офицеров, конечно, часы были, у солдат были далеко не у всех. «Ну, ничего, Д**, – говорит он начальнику артиллерии, – ты эту башню с часами не трогай, пусть солдаты на всякий случай смотрят на часы, тем более что они еще бьют. Вот как только пробьют четыре часа – прятаться, как в кинофильме «Золушка», чтобы ни одного солдата наверху не осталось». Он еще с таким юмором был, Кольченко.

И, надо сказать, всё это очень неплохо прошло. Я не знаю, может быть, какие-то накладки были, но в общем это была очень грамотно, умно спланированная операция, и факт остается фактом: на Мазурских озерах в Первую мировую войну разгромили два наших корпуса, а в этом случае мы силами одного полка (ну, не одного, конечно, – на соседних участках действовали другие полки нашей дивизии) взяли очень важный укрепленный пункт Николайкен – он стоял на стыке двух крупных озер, и этот прорыв очень много значил. При том, что город был нафарширован немецкой артиллерией и минометами, пулеметами, и хотя дважды были сильные артналеты, у немцев оставалась еще артиллерия – она стояла за городом и тоже вела довольно прицельный огонь, – и большое количество пулеметов, и собственно немцев было очень много, включая снайперов, которые не очень-то легко сдавали эти дома. И бои продолжались – уже стемнело – четыре, пять, шесть часов подряд, и мы в общем в этот день практически не ели (когда командир полка нас вызвал, там кухни где-то были, немножко что-то куснули, но не до того было). И я думаю, что продолжалось это уже часов до десяти-одиннадцати ночи.

Мы с моими тремя солдатами какой-то домик действительно заняли, выкурили из него немцев. И я до такой степени вымотался и устал, что уже не мог дальше двигаться и мне уже было совершенно всё равно, есть в этом доме еще немцы, нет, – я просто свалился на какую-то кровать, которая там стояла, и заснул как убитый. Растолкали меня только с рассветом.

Оказалось, что действительно к этому времени город был уже почти полностью очищен от немцев. Это было вообще героическое сражение, и за взятие Николайкена, «за прорыв глубоко эшелонированной обороны» на Мазурских озерах мы получили грамоты – благодарность Сталина. А я был представлен к очередному ордену, но поскольку меня представляли к ордену только что не каждую неделю, то потом собрали все три представления и дали один орден.

После Николайкена мы получили возможность два или три дня так довольно спокойно двигаться дальше. Но потом мы столкнулись с Хайльбергской группировкой (в районе города Хайльберга). Там стояло несколько немецких дивизий, в том числе танковые дивизии, которые начали оказывать настолько упорное сопротивление, что нам, по сути дела, иногда даже приходилось отступать, иногда приходилось пробиваться по километру в день, не более того. Вот первой ласточкой и была как раз эта танковая контратака под Вернегитеном, о которой я в другом месте рассказывал⁶.

Как мы вдвоем взяли в плен десяток немцев

Обычно мы вставали очень рано: нас поднимали где-то около четырех-пяти утра, и еще до завтрака мы совершали такой небольшой марш-бросок, километров на шесть-семь. Так в общем-то по уставу не полагалось, но поскольку нам надо было проходить большие расстояния (одно время немцы отступали в Восточной Пруссии очень сильно) – мы шли, а потом нам должны были подвозить завтрак и всё такое. Я обычно не дожидался того, что подвозили, а брал двух-трех своих ребят, и мы забирались в окрестные дома. Немцы в Восточной Пруссии эвакуировались полностью, и гражданского населения практически не было, по крайней мере, долгое время в селениях мы не встречали ни одного живого человека, а в домах было всё: молочные продукты, которых на фронте вообще никто не видел, сахар в мешках; кроме того, у них в те времена были такие вакуумные консервы с вареными курами в застывшем бульоне, – надо было за резиночку от крышки потянуть, и можно есть, и это было гораздо вкуснее, чем обычная солдатская пища. И мы обычно по утрам заходили в какой-нибудь домик и быстренько завтракали, а потом к нашей кухне шли в основном попить кипяточку – так называемый чай.

И вот однажды, это было уже после того, как мы прорвали линию обороны и вышли немного к западу от Кенигсберга, – по-моему, городок назывался Лаутерн, – где-то часов уже в 8 утра мы пошли позавтракать в такой домик типа барака. За мной шел мой вечный ангел-хранитель старшина Иршинский. Он всегда таскал с собой автомат, а я, между прочим, во время маршей старался не тащить на себе ничего лишнего, и мой автомат и винтовка (у меня было и то и другое) ехали обычно на одной из подвод где-то сзади. В лучшем случае у меня наган висел, но и тот мне казался тяжелым. Я терпеть не мог носить ни пилотку, ни тем более каску – но каски у нас вообще никто никогда не носил, это только в кино бывают каски, а так вот тащить на себе эту тяжесть – никто из пехотинцев такого никогда не делал.

Я толкнул дверь, зашел в домик и как-то даже растерялся... смотрю: Бог ты мой, полная комната немцев! Кто-то в немецкой военной форме, а кто-то в нижней рубашке – бреется, его форма висит... И я растерялся, и между прочим и они, кажется, растерялись. Причем Иршинский немножко отстал, и я оказался один, а у меня еще и оружия-то не было! И вот стоит какой-то громадный немец, гораздо выше меня ростом, и я вижу – у него на поясе висит пистолет в кобуре (они носили пистолет не сбоку, а спереди немножко). Я так твердо подошел... Я никогда таких команд вообще не подавал, типа «хенде хох», но тут от некоторой неожиданности и, возможно, даже от испуга закричал именно так: «Hande hoch!» Немцы,

⁶ См. главку «Achtung, Panzern!», с. 51–53.

которые там, один лежал на двухъярусной кровати, другой сидел, третий брился, – они так с некоторым испугом повернулись ко мне, а этот, стоявший рядом, действительно поднял руки. Я единственное, что успел сделать, – я выхватил у него из кобуры пистолет и всё-таки почувствовал себя более уверенно. Наверное, прошло бы полминуты, и они бы опомнились: они все были при оружии. Но по счастью, в этот момент вошел мой друг Иршинский со своим ППШ⁷, из которого стрелять было не так-то просто и легко, но это было очень впечатляюще: точно как на картинках – с автоматом, в пилотке с красной звездой (я-то ходил в папаше без всякой красной звезды – они даже не могли, может быть, сразу сообразить, кто я). Иршинский по-простому – он только эти два слова немецких и знал – сказал: «Hande hoch», – причем не крикнул, а так спокойно, как барин. Ну, тут-то я уже не растерявшись скомандовал всем, что heraus, выходите – выходите по одному и бросайте оружие – всё, как полагалось... И они уже были настолько внутренне подготовлены к сдаче в то время, что это не вызвало никакого ни удивления, ни противодействия. Может, они собирались сдаваться... Они как-то покорно начали по одному выходить из дома, но там-то наших было уже сколько угодно...

И вышло немцев из этого домика человек семь или восемь... Иршинский в это время тоже вышел и говорит мне (он меня называл «младший лейтенант», не добавляя слово «товарищ»): «Младший лейтенант, чего это вы совсем без оружия к немцам ходите?». Я говорю: «Да... так...». Но сам задним числом почувствовал себя не очень гладко.

Конечно, если бы на другом этапе войны... попади я в ситуацию, где было семь или восемь немцев, то они меня элементарно даже без выстрела бы пришибли... Но к этому времени уже чувствовалось, что война проигрывается, и многие немецкие части уже готовы были к тому, что лучше сдаться в плен, чем от нечего делать воевать, проливать без толку кровь.

В тот день в этом городке нашему батальону сдалось еще десятка три немцев, большая часть которых были солдаты вспомогательных войск...

В обороне. Передовая и тыл. Аристократы полка

То, о чем я рассказывал, касалось зимнего наступления в Восточной Пруссии. А до этого мы находились километрах в тридцати от Прусской границы, в северо-восточной части Польши, в районе крепости Осовец. Когда я попал туда, как раз завершилось довольно крупное летнее наступление и наступил период, когда кроме мелких стычек и позиционных боев ничего не происходило: это продолжалось сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 1944 года, и только 15 января 1945 года началось наступление, а наша дивизия перешла в наступление 17 января. Что мы делали всё это время – четыре с половиной месяца?

Существовала передовая... На передовой там стоял солдатик-славянин в окопчике, в траншее, и где-то метрах иногда в 80, иногда даже в 40 позади него находился командный пункт – полагался бы взвода, но поскольку взводы у нас были очень маленькие, то был уже командный пункт роты. От этой роты полагалось выставлять нескольких солдат на ширину примерно в километр – вообще говоря, роте не полагался полный километр, полагалось меньше занимать позиции, но у нас было примерно километра даже два на каждую роту, на батальон получалось километра четыре, даже пять. И вот в траншеях, которые в конце концов прорыли и объединили в единую такую систему, на расстоянии примерно метров 150 друг от друга стояло по одному несчастному солдатику с винтовкой! То есть весь расчет был на то, что немцы не полезут, потому что если бы полезли – ну, о чем тут говорить... Просто это диктовалось необходимостью – очень малый состав был, нужно по крайней мере трех человек в течение суток поменять, даже если их заставлять по восемь часов мерзнуть в

⁷ Автомат времен Великой Отечественной войны – «пистолет-пулемет Шпагина».

траншее, ночью еще надо усиливать. Так что, конечно, реальная охрана передовой была не очень-то высока, да и на командном пункте (КП) роты в общем было тоже довольно тяжело: там было несколько блиндажей для двух-трех офицеров и для солдат, которые отдыхали от пребывания на посту, то есть боевого дежурства в траншее – это называлось пост, – вот, собственно говоря, всё укрепление.

Ну, дальше, еще метров через 300 в сторону тыла находилось КП батальона и всё то, что в батальоне полагалось. Обычно командир батальона и начальник штаба (адъютант старший) были в одном блиндаже, рядом был блиндажик взвода связи, рядом с другой стороны был блиндажик санвзвода, немножко дальше в глубину, обычно за каким-нибудь холмиком, был хозвзвод, где были боеприпасы и где готовили пищу. Да, еще был блиндажик с политработниками (политработников у нас полагалось трое, и в общем, пока мы стояли в обороне, у нас трое и было – замполит, комсорг и парторг)... Вот, собственно говоря, всё, что было на КП батальона.

Дальше, за батальоном – это километра 3–4 от линии фронта, – находился тыл полка (то, что попросту называлось «полк»). Тыл полка был довольно обширный. Во-первых, это был КП и штаб полка и, во-вторых, собственно тылы. Штаб полка – это командир полка, его заместители, начальник штаба полка и четыре его помощника. ПНШ-2 – полагалось так – отвечал за разведку, при нем был взвод полковой разведки. Вот это были вообще оторвы, бандиты, я уж не говорю насчет настоящего мата – я только там его и услышал (так сложилось, что один раз – в наступлении дело было – я оказался вместе с разведчиками). Но, видно, взвод был неплохой: ребята там были крепкие, и когда надо было идти в немецкий тыл и брать языка, какого-нибудь немца скрутить, – им это в общем ничего не стоило. Командир взвода разведки был лейтенант, говорили, что он уже трижды лейтенант, потому что его несколько раз успевали разжаловать в штрафную, потом он выслуживался и опять становился командиром взвода разведки...

Была еще санрота в полку, и вообще была, так сказать, вся аристократия. Что такое аристократия полка? Я имел возможность наблюдать: главные аристократы были – командир полка, его заместитель по строевой части, начальник артиллерии и инженер полка.

Начальник артиллерии, подполковник Д**, вообще был аристократ из аристократов, ходил всегда щеголевато одетым, у него там была своя девушка – Машенька такая, которая была санинструктором в батарее 45-миллиметровок, ее называли «Маша-Сорокапятка», и он с ней так достаточно открыто жил, она даже этим как-то гордилась...

А инженер полка – это вообще, конечно, особая статья. Не помню его фамилии... Светлый такой, высокий, красивый был человек. Ему подчинялись саперные подразделения, которые, по современным представлениям, только занимаются тем, что мины обезвреживают. Во-первых, саперы не только мины обезвреживают, но и мины ставят, потому что нужно же охранить позиции батальона от возможного проникновения противника.

Кроме того, в их ведении было огромное количество инженерных сооружений, начиная от блиндажей. Причем, как всегда и везде, такая легкая коррупция существует: ну, конечно, командиру полка оборудовали прекрасный блиндаж... Ну, уж себе этот инженер оборудовал блиндаж (не помню, почему я к нему однажды попал) – как гостиница «Россия», ей-Богу, как номер: всё дерево, зеркала (где он их натаскал?), прекрасная мебель, то ли двухкомнатным, то ли трехкомнатным он у него получился. У него тоже была девушка, лет девятнадцати, тоже санинструктор – очень милая, худенькая, Лидой ее звали... К сожалению, в конце войны в Пруссии ей попал в голову снаряд – прямо почти на моих глазах... Она блондинка была, все ее светлые волосы залило кровью, я к ней бросился, думал, что можно помочь, но полчерепа было уже снесено... Там мы ее и похоронили, в Восточной Пруссии... Но до тех пор она жила с этим инженером. Вот так он хорошо там устроился...

Был еще комиссар (собственно, заместитель командира полка по политической части – все его называли комиссаром), но он как-то держался в стороне... Был еще смершевец, такой капитан СМЕРШ Карташевский, но, по-моему, он тоже мало влиял на события и как-то к аристократии полка не относился. Вот, собственно говоря, это то, что называлось «полк».

Дальше шли тылы дивизии – это где-то было уже совсем далеко, 10–12 км от фронта. Там уже были прекрасные палатки, строения, чего там только не было! Когда я туда попал в медико-санитарный батальон – три дня лежал там с легким ранением, – меня поразило, что там была даже патолого-анатомическая лаборатория... Были и прачечные, и хлебопекарни, всё на свете – в общем, так сказать, почти гражданка – много женщин... В батальон женщин ни при какой погоде не пускали. Первые женщины появлялись только в тылу полка – врач полка, сестра, санинструкторы. По-моему, в лучшем случае было шесть-семь женщин в тылу полка, а в дивизии – нескладное количество.

И вот так сравнивать, как на самой передовой стоит один несчастный солдатик в бушлатике⁸, я уже говорил, «славяне» мы их называли – один несчастный славянин с винтовочкой, переминается с ноги на ногу от сырости и холода, а дальше, за его спиной идет рота, батальон, потом полк, а потом дивизия – это уже тысячи людей. И вот на этого одного, который реально стоит там, на передовой, по-моему, приходилось 600–700 всяких командиров, комиссаров, связистов, минеров, инженеров, санитаров, транспортников, этих самых прачек, тех, кто должен кормить, кто должен поить – пищевое довольство, вещевое довольство... Организовано это всё было, конечно, очень и очень неплохо, но сама идея... У меня тогда как-то сам собой возник образ: гигантская пирамида, обращенная вершиной к немцам. На острие пирамиды – солдат, а потом, всё расширяясь к основанию, она вбирает всё больше и больше людей – сначала десятки, потом сотни, потом тысячи... Но, с другой стороны (это я уже теперь так размышляю), без всего этого – без кормежки, без одежды, без боепитания, без медицинской помощи – солдату было не выжить. Так что не знаю... И это, так сказать, в военно-бытовом плане. А в чисто военном? Без артиллерии, без танков, без авиации пехота была бы беспомощна. А ведь все они располагались на некотором отдалении от передовой.

Наш батальон. Бои в Восточной Пруссии

В батальон входили три стрелковые роты, минометная и пулеметная роты и несколько отдельных взводов: взвод связи, саперный взвод, санитарный взвод, взвод хозяйственный (который включал в себя боепитание и кормежку). Кроме того, в каждом батальоне было управление: командир батальона и адъютант старший батальона (фактически начальник штаба) и вестовой, то есть там было всего три человека. Были еще замполит, парторг и комсорг. Комсорга обычно использовали как писаря, а парторг был резервный человек: если выбывал командир роты или командир взвода (в ротах было три взвода), то его могли поставить на замену, что нередко и делали.

Командиром батальона у нас был капитан Балан долгое время. Потом, когда его ранило во время зимнего наступления в Германии, командиром батальона стал другой капитан – татарин Нигматулин, очень такой, надо сказать, профессионально подготовленный человек. Адъютантом старшим был капитан Андрей Кузин, – о нем я уже говорил, – москвич, человек удивительно образованный для этой категории людей, я считал его своим старшим товарищем, ну даже не товарищем, а прямо молился на него, потому что он очень точно и четко всё умел делать и делал всё как-то очень легко и просто.

Замполитом у нас был капитан с удивительно яркой фамилией Непейвода. Он был по возрасту самый старший в батальоне, потому что большинству наших офицеров было кому

⁸ У нас солдаты были не в шинелях, а в бушлатиках (шинели носили офицеры).

22, кому 23, не знаю точно, но думаю, что не больше 23-х лет, а ему было лет 35–40 – мне казалось, что он вообще глубокий старик. Он был украинец, человек необычайно добродушный и для замполита (в отличие, скажем, от замполита полка) вел себя удивительно благородно и хорошо. Во-первых, он никогда ни с чем не приставал, во-вторых, он не прятался во время боев... Когда было много раненых, он помогал в выносе раненых, когда надо было наступать – он шел с командирами рот, иногда даже вместе с бойцами. Вообще-то профессиональным военным он не был и в боевой обстановке ориентировался неважно, но он и не лез со своими советами.

Минометной ротой командовал Комарницкий, одессит, очень веселый человек, и, в общем, довольно удачно командовал. Там были четыре батареи – большая рота была, минометы у них были 82-миллиметровые, возили их на подводах, у него было, по-моему, четыре подводы – на каждую батарею по подводе. Командиром пулеметной роты был Пономарев. Он какой-то был неудачливый: то его ранило, то он что-то опять был в госпитале, и с пулеметами у нас было плохо – они всё время почему-то выходили из строя.

Полагалась нам и своя артиллерия – две или даже четыре 45-миллиметровые пушечки батальонные, но начальник артиллерии полка велел создать массированный артиллерийский кулак, и поэтому всю артиллерию, и батальонную, и полковую объединил, и по мере необходимости придавал наступавшим или оборонявшимся батальонам.

Командиром хозвзвода у нас был старший лейтенант Лесников, тоже человек уже немолодой, откуда-то из-под Москвы. Он следил за тем, чтобы кормежка шла нормально. Ну, воровства на уровне батальона быть и не могло – там некуда было воровать просто, и нечего, и некуда. Всё, что полагалось, всё, что доставалось, всё, в общем, шло поровну всем. Ну, могли там для командира батальона и адъютанта старшего вместо того, чтобы дать вареную картошку, взять им ее и на сале поджарить... Впрочем, любой боец мог сам куда-то забраться, что мы впоследствии и делали, уже в Германии, и в общем в основном питались, конечно, сами...

Командиром одной из стрелковых рот – я почему-то только его запомнил хорошо – был старший лейтенант Редькин. Пономарев был лейтенант, Комарницкий, по-моему, был старшим лейтенантом. Кузин был капитан, и Балан, и Нигматулин тоже были капитаны. И в общем, на уровне батальона больше чем капитана и не было никогда.

Солдат было очень немного в батальоне. Батальон, вообще-то по идее считалось, должен был насчитывать 700 человек, но так никогда не было. В лучшем случае бывало 400, но даже в самом крупном (первом) батальоне нашего полка было 350, а у нас было, дай Бог, 180–200 человек. Так что батальон был, конечно, не полного состава, но выполнять мы должны были всё и подразделения у нас были все.

Что касается меня, то я был командиром отдельного взвода, то есть находился в прямом подчинении командиру батальона, а фактически – Андрею Кузину. Моими помощниками были старшина Иршинский, откуда-то из-под Брянска, и украинец такой, Титаренко – кажется, старший сержант. Рядовых в разное время было от 6 до 10 человек, в основном белорусов. Мне запомнились двое из них – Бубнов и Аниськов, и еще украинец, младший сержант Луценко.

Помимо участия в общих для всего нашего батальона боевых действиях нам приходилось заниматься самыми различными вещами: разведкой, так как в батальоне не было специального разведывательного подразделения (взвод разведчиков был только в полку), или обеспечением порядка и правильности движения батальона во время переходов. Но самым важным и самым сложным в нашей работе было обеспечить своевременный вынос раненых с поля боя. Работа эта была не из легких: доползти под огнем немцев до упавшего солдата, разобраться, ранен он или убит, и оттащить его на себе метров на 100, а то и на 300, не имея возможности маскироваться и отстреливаться... Причем полагалось тащить не только ране-

ного, но и его оружие – винтовку, пулемет, противотанковое ружье. Неудивительно, что за вынос, кажется, двадцати раненых с поля боя (обязательно с оружием, иначе не считалось) полагался орден Ленина – такая же награда, как за три уничтоженных немецких танка.

Во время тяжелых боев людей в санвзводе катастрофически не хватало, и мне помогали как «сверху», так и «снизу». Из санроты, которая была при полку, к нам присылали офицера – его фамилия, помнится, была Минько – и 5–6 солдат-санитаров. Кроме того, в каждой роте – то, о чем я рассказываю, это батальон стрелковый – в каждой стрелковой роте было 3 или 4 человека, которые хотя и были бойцами, но у них была вторая специальность – санитар: когда были сильные бои и многих людей ранило, то они вытаскивали их с поля боя.

Моя же обязанность была организовать разумную деятельность всех этих людей: я бегал, распоряжался, как что кому делать, а собственно медицинскую помощь оказывали Иршинский и Титаренко. Главное же было поскорее отправить тяжелораненых в санроту и не дать им умереть по дороге.

На мне, как я уже упоминал, лежала также ответственность за передвижения батальона на марше. Дело в том, что после инцидента на Мазурских озерах, о котором я уже подробно рассказывал⁹, Кузин понял, что, во-первых, ему не обойтись без офицера, ответственного за движение батальона, и, во-вторых, что я хорошо разбираюсь в топографии. Вот он и решил, что во время боев я буду заниматься ранеными, а между боями буду выполнять часть его обязанностей, а именно осуществлять топографический контроль движения батальона на марше, контроль за соблюдением правил движения и совместно с командирами рот – организацию самого движения.

Полагалось, чтобы примерно в 100–200 метрах впереди было боевое охранение, и по бокам примерно в 100 метрах должно было быть фланговое охранение – надо было следить, чтобы солдаты из боевого охранения не «прижимались» к идущим по дороге, а действительно были на нужном расстоянии, могли вовремя предупредить¹⁰, что было очень существенно, потому что не раз мы попадали в ситуации, когда мы идем вроде бы свободным маршем по дороге, а тут вдруг ни с того ни с сего начинается фланговый обстрел, и если бы не охранение, то основная масса солдат попадала бы под обстрел. Надо было следить за тем, чтобы мы не сбивались с курса, проложенного по карте, потому что в Германии дорог очень много и выбор страшно затруднен – всё время какие-то перекрестки, можно пойти налево, направо.

⁹ См. стр. 49–50.

¹⁰ Сигнал тревоги подавался ракетницей или трассирующими пулями, которые оставляют след в небе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.